Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Германия Мюлен

РОЖДЕННЫЙ В ШАХТЕ

ПОВЕСТЬ

Авторизованный перевод с немецкого

А. ДВОРИНА.

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ"
1924

Отпечатано в 1-й типографии Моск. Сов. Народн. Хозяйства „Печатное Искусство", аренд. С. Я. Цузмер и С. Г. Гликин, Москва, Маросейка, Армянский пер., д. 6, в количестве 10.000 экземпл. Главлит № 4188.

ГЛАВА I.

По происхождению Андрея никак нельзя было причислить к благородному сословию. Мать его работала в шахте, на глубине 500 саженей под землей, когда он решил начать свою жизнь появлением на свет. Нельзя было также про него сказать, что он сразу увидел свет солнца; когда голубые глаза его впервые открылись, их окружала непроницаемая тьма, чернота во всех оттенках,—от острого блеска каменного угля до черносерой пыли шахты,—бросала жуткие тени на его глаза. Его первый крик раздался в узком пространстве вечной ночи и, ударившись испуганной дрожью в сырые стены подземелья, был заглушен тяжелыми ударами бьющих породу кирок.

Матери его, Лине, уже давно следовало прекратить работу в яме. Распухший живот девушки стал посмешищем молодых парней. Утром и вечером, при встрече в подъемной корзине, они, хихикая, бросали насмешки, задавали вопросы и были чрезмерно любопытными. Только надсмотрщик, будто ее не замечая, казался совсем слепым точно его это не касалось. Он, повидимому, знал причину этой полноты.

Лина была круглой сиротой. Никто о ней не заботился; она была предоставлена самой себе. Она привыкла с самого детства работать и зарабатывать себе на жизнь. Зачем же ей было и сейчас сидеть сложа руки, когда еще силы не совсем оставили ее, когда можно еще своим трудом заработать деньги? Они ей пригодятся, когда появится на свет этот несчастный червячек—дитя, отца которого она сама назвать не могла. Может быть, надсмотрщик? Как-то раз осенним вечером он заманил 17-ти летнюю девушку к себе;

она, правда, сопротивлялась, но мышцы ее ослабли—дневная работа оставила свои следы. Ее охватила тяжелая сонливость, затуманилось сознание, как будто свинец сковал все ее движения. К тому же она ни на минуту не забывала, что надсмотрщик—важная персона, в большом почете у владельца шахты и прочего начальства. Все было бы хорошо, если бы он не застал ее дней через пять с Францем. Она смогла бы уверенно сказать, что ребенок принадлежит именно ему, надсмотрщику. К несчастью, и Франц погиб при катастрофе на шахте. Значит ребенок должен расти без отца, все муки и расходы упадут только на нее.

После первых приступов дикого отчаяния, охватившего ее, когда она сообразила, в каком положении очутилась, девушка впала в тупую покорность судьбе. Повидимому, такова уж участь работницы; все это так же естественно, как боль в пояснице, подгибающиеся от усталости колени и воспаленные глаза. За все приходится расплачиваться—за несколько веселых часов, проведенных с Францем, за рабский страх перед надсмотрщиком, за все, за все... С тех пор, как она себя помнит, она знает, что на этом свете ничто не дается даром, за все нужно платить. За хлеб, который она ест, за убогую лачугу, в которой она живет вместе с подругой, ей приходится расплачиваться беспрестанным напряжением молодых упругих мышц, постоянной болью во всем теле. Так было, так оно будет и впредь. Весь мир — черная клетка, шахта, в которой работают вспотевшие, согбенные, усталые люди.

В одно светлое апрельское утро Лина почувствовала острую боль. Казалось, что-то сверлит внутри ее, не хватало сил подняться с постели.—Нет, сегодня я еще должна работать,—пробормотала она сквозь стиснутые зубы.—Завтра воскресенье, пусть эта дрянь завтра появится на свет. Сегодня мне некогда.

Боли немного утихли, девушка в полусознательном состоянии потащилась к подъемной корзине. Несмотря на головокружение, она нагрузила одну тачку проклятого угля. Но снова наступили боли, и она почувствовала, что что-то тяжелое тянет ее вниз. Казалось, что раскаленные щипцы разрывают ее внутренности, огромный живот поднимался и опускался, рыдания и стоны слились в звериный рев. Впервы

в своей тяжелой жизни она протестовала, возмущалась против своей судьбы. Она сжимала ноги, как будто желала преградить дорогу рвущейся наружу жизни. Боль, крики, все в ней слилось в ощущение протеста, в вопрос: почему? —Почему именно у меня должен быть ребенок? Ведь, другие девушки имеют по полдюжине любовников без всяких последствий, без детей. Почему я должна валяться тут, извиваться от боли, глотать пыль? Другие женщины имеют мягкие постели, мужей, которые о них заботятся. Почему же я должна?..... Почему?... Все больше и больше ее охватывала жгучая боль. Она в бешенстве корчилась от нечеловеческих мук. „Гадина!“ „Проклятие!“ вырывалось из ее уст. Относилось ли это к маленькому существу, раздиравшему ее внутренности, к надсмотрщику, или к покойному Францу? Или, может быть, ко всему свету? Лина этого не знала.

Лина не смогла бы сказать, что именно вызывало ее бессмысленный гнев. Она кричала, стонала, хрипела, рыдала, бессознательно повторяя: „Гадина“! „Проклятие“!

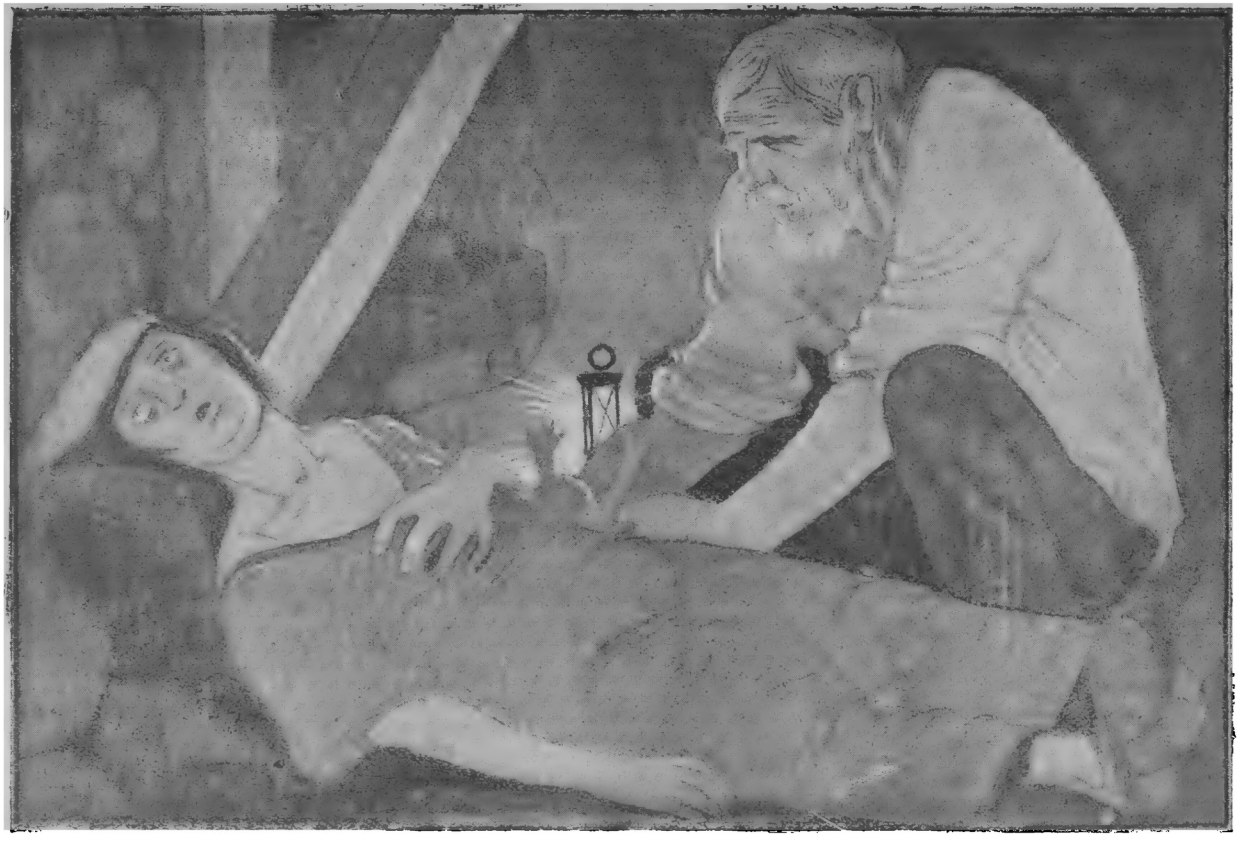
Она судорожно обхватила жесткими руками свой живот, царапала себе тело, бессмысленно глядела влажными от слез глазами в пространство, пытаясь что то увидеть, что могло бы подать ей помощь. Вдруг она увидала уголь, черный, блестящий уголь. Она почувствовала всю ненависть к этому черному камню, высасывающему все ее силы. Казалось, что он, только он, этот уголь, во всем виноват. Проклиная, она закричала: „Гадина! Черная вонючая гадина! Ты съедаешь наших мужей, съедаешь нашу силу! Проклятая гадина!“

Ее крики заглушали удары кирок, охватили подземные коридоры, и казалось, что все задрожало, все готово было обрушиться на нее. На крики сбежались углекопы. Несколько молодых парней с улыбкой презрения посмотрели на корчившуюся от боли девушку и затем ушли. Только старый Петр Леэр остался около девушки, утешал ее. Лина бессознательно слушала его. Неужто кроме этих чудовищных мук, разрывавших на части ее тело, кроме этого холодного камня, злорадной гримасой смеющегося ей в лицо, существуют еще люди? Страшный с небывалой силой вырвавшийся звериный крик заполнил собой все подземелье, и вдруг после замирающего стона наступила жуткая тишина. Затем раздался другой звук, тихий, жалобный, как писк молодого зверенка.

Старый Леэр с трудом согнул колени и, подняв с земли что-то красное, окровавленное, ласково кивнул девушке: „Лина, мальчуган, мальчуган, Лина!“

Узнав о происшедшем, надсмотрщик начал бранить девушку, но замолчал, когда увидел ее измученное, бледное лицо.

Рабочие понесли девушку к подъемной машине. За ними шел Петр Леэр с ребенком на руках. Лина лежала неподвижно, впала в прежнюю тупую покорность и, глядя пред собой, бормотала тихо, бессвязно: „Проклятие!“ „Проклятие!“



Старый Леэр поднял с земли что-то красное, окровавленное...

ГЛАВА II.

Лина была крепкая здоровая девушка; уже через неделю после рождения мальчика, она опять работала в шахте. Правда, у нее болели груди, они были тяжелые и, казалось, притягивали все тело к земле, когда ей приходилось нагибаться при погрузке угля. Но Лина не роптала. С глухой ненавистью подчинилась она судьбе, ходила на работу, и, возвратившись домой, кормила грудью ребенка с каким-то безразличием, не чувствуя ни любви, ни ненависти к этому маленькому крикливому созданию.

Старая Мария Ротт взяла к себе ребенка; она была прачкой и получала ничтожную пенсию от шахтовладельца, после того как трое ее сыновей погибли при ужасной катастрофе в шахте. Первым воспоминанием детства Андрея была маленькая согнутая старушка, прилежно работающая весь день, напевая при этом хриплым голосом. Когда приближался вечер, старушка становилась неспокойной. Худощавые руки начинали дрожать, щеки воспламенялись, глубокие глаза глядели куда-то в пространство, туда, где шахты, где подъемная корзина выбрасывала на поверхность сотни тысяч рабочих. Она быстро бросала работу, накрывала на стол и ставила четыре стула, четыре прибора. Укутываясь в старый серый платок, она неизменно повторяла:

— Пойдем, Андрей, нам надо спешить к подъемной корзине. Скоро поднимутся наши парни, мы должны их встретить.

Подъемная машина подымалась и опускалась непрерывно, выбрасывая вверх группы углекопов. Старуха стояла неподвижно и пристально всматривалась в лицо каждого проходящего, ждала, пока поднимется последняя корзина, ждала и

надеялась. Недоумевая качала головой, останавливала запоздавших рабочих, спрашивала их, но вопросы ее оставались без ответа. Сначала про себя, затем все громче и громче, крича, угрожая, она неизменно повторяла один и тот же зловещий вопрос: — Где же пропадают мои парни? Где они?! Где? Иной раз она получала в ответ от мимо проходящего опаздавшего углекопа:—Завтра, завтра, Мария! Завтра твои парни несомненно придут! Старушка медленно шла домой, постоянно оборачиваясь на ходу,—может быть сыновья запоздали, догоняют, может быть они уже ждут ее дома.

Пять лет прошло со дня катастрофы на шахте, при которой погибло около 100 рабочих. После раскопок, их трупы были положены в большой сарай, куда собрался весь поселок, все родственники погибших. Большинство трупов было совершенно обезображено силой взрыва. Когда Марию подвели к изуродованным телам ее сыновей, которых она утром видела еще здоровыми, крепкими парнями, она долго молча глядела на разлагающиеся уже тела. Вдруг раздался резкий, хриплый, полный безумной радости смех. Старушка мать смеялась у изуродованных трупов своих сыновей. Этот смех перешел в безумный крик. Смеясь, молясь, угрожая, она кричала: „Что?! это мои сыновья?! вы с ума сошли? мои сыновья красивые, здоровые парни; ведь, тут лежит падаль, а не люди. Ведь это не мои сыновья. Мои парни живут, сидят уже дома, ждут, сердятся на свою старую мать. Стол еще не накрыт... Да, да, я должна спешить домой. Они меня ждут!“

Все еще смеясь, она вышла из сарая. Видя плачущих женщин, она, соболезнуя, утешала их:—Ваши мужья погибли. Бедные жены, бедные жены! Ко мне господь был милостив, мои парни живут, поднимутся со следующей машиной, скоро будут дома.

Она казалась тихой, спокойной, довольной. Только раз сильно рассердилась, когда ей намекнули, что следует хоронить сыновей.

— Хороните мертвых!—кричала она.—Мои сыновья живы! Бросьте эти черные мысли! Да не повредят они моим сыновьям! Прочь, не хочу я слышать ваших жутких слов.

В то время она, несмотря на старость, была еще крепкой женщиной, и пастор в испуге поспешил удалиться, при виде ее угрожающих кулаков.

За эти пять лет не было дня, когда она не выходила бы встречать своих сыновей, не накрывала бы стола. Иногда она возвращалась со слезами на глазах, но чаще всего она забывала печаль и предавалась надежде на следующий день увидеть своих парней.

Когда маленькому Андрею минуло 4 года, она часто ему рассказывала о своих сыновьях. Уже будучи взрослым человеком, Андрей вспоминал тихий плеск воды в корыте, наполненном мыльной пеной, острый запах свеже-вымытого белья. Все это в его воспоминаниях смешивалось с рассказами старушки, с ее тихим шопотом, не то обращенным к Андрею, не то к себе самой.

— Когда сегодня придет Павел,—бормотал старческий голос—он тебе сделает маленький кораблик; он такой искусный мастер, Павел. К Фридриху ты не приставай, оставь его в покое, его все тянет к книгам, он беспрерывно читает. Андрей, возьми там тряпку, и сотри пыль с книг, ведь, знаешь, Фридрих не любит, когда пыль садится на его книги. Сегодня он будет радоваться, я приготовила его любимое кушание—гороховый суп....

Маленький Андрей обыкновенно ждал со старушкой у шахты, вместе с нею удивлялся, когда поднимающиеся корзины никак не хотели поднять ее сыновей, и повторял вместе с ней:—Завтра парни наверное придут. Завтра мы их увидим.

Повседневная работа у корыта и частые прогулки в зимние вечера к шахте отразились на здоровье старушки. Мария Ротт заболела и принуждена была слечь. Андрею приходилось накрывать на стол, но он всегда забывал что нибудь такое из указаний воспитательницы, что особенно необходимо ее сыновьям. Когда же стол был накрыт, старая женщина посылала его к шахте, приказывала ему не возвращаться обратно до тех пор, пока сыновья не поднимутся.

— Ты их легко узнаешь, Андрей, они самые красивые и крепкие парни. Скажи им, что мать уже давно их ждет...

Когда же мальчик возвращался домой один, старушка сердилась, упрекала его.

— Ты, вероятно, где-нибудь играл, совсем не смотрел за корзиной, нехороший ты мальчик!

Однажды вечером, когда она выбранила мальчика, последний, словно извиняясь перед ней, сказал:

— Они не придут, тетя Мария, они никогда уж больше не придут.

— Кто это тебе сказал?..

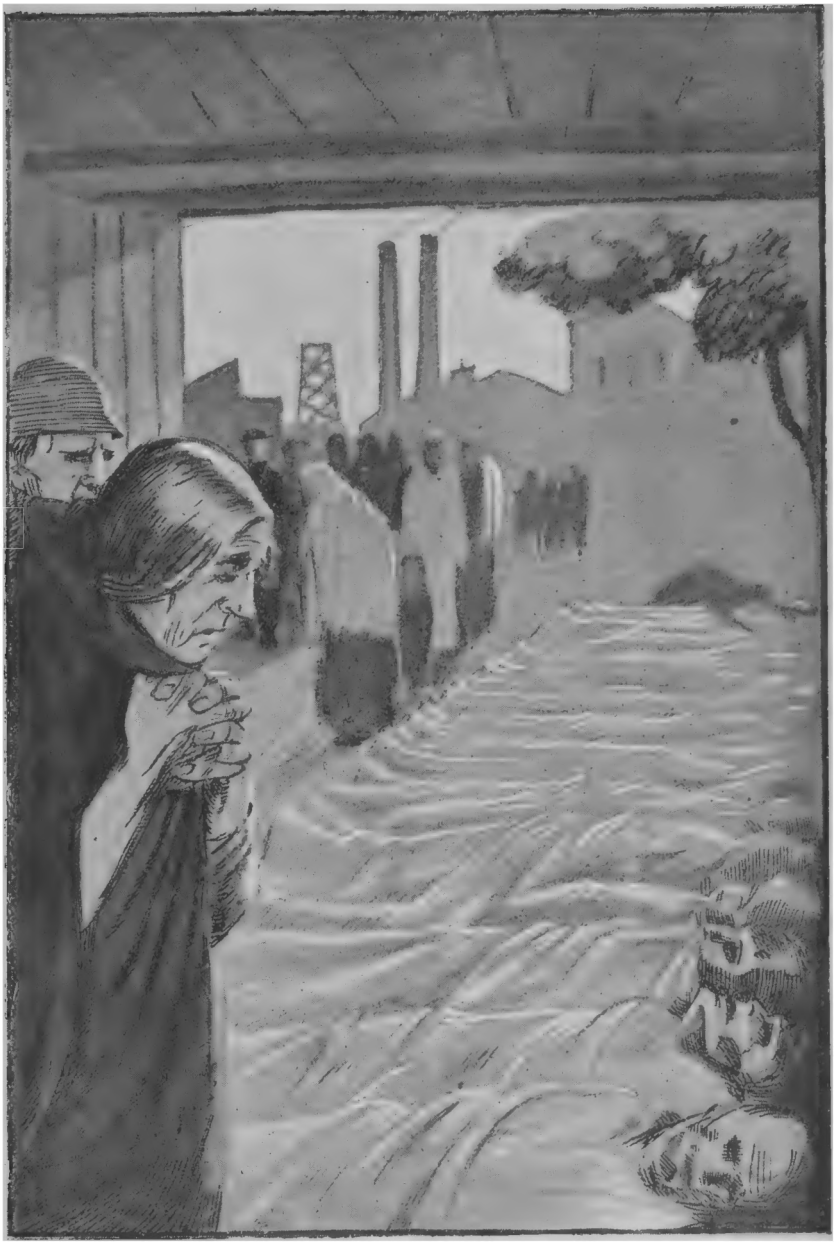
— Старый Петр Леэр; он сказал, что они умерли.

Старая костлявая рука изо всей силы ударила ребенка по лицу.

Мальчик заплакал; его охватило упрямство, гнев, и он начал кричать:—Да, да, они умерли, умерли! Старый Петр Леэр так сказал, что они уже много лет тому назад умерли, их съел огонь в шахте; от них остались только маленькие косточки, они не придут, никогда не придут!

Плача, мальчик отскочил от старушки, бегал по комнате, свеча упала и потухла, мальчик спрятался под накрытый стол, на котором были расставлены 4 прибора.

Тяжелая черная ночь спустилась в лачугу. Неподвижно лежала в кровати старая женщина, тяжело вздыхала, боролась с охватывающим ее ужасным страхом. Так сказал старый Петр Леэр. „Они никогда не придут, они умерли". Петр никогда не лжет, она знает, он хороший, богобоязненный человек. Их сожрал огонь в шахте, нашли только обугливщиеся кусочки их тел. Перед старушкой прошел образ ее сыновей, здоровых, крепких, таких ласковых... Этот образ сменялся другим. Старуха вспомнила большой сарай; резко и болезненно пронеслась мимо ее глаз картина: большой сарай, труп подле трупа, бесчисленное множество погибших углекопов, кто-то подводит ее к трем трупам, незнакомый печальный голос произносит: „Здесь лежат ваши бедные сыновья". Мария видит изуродованные тела, вдыхает, воспринимает всеми своими чувствами запах разлагающихся родных тел. Ее бедные сыновья... Что если это правда? Если это все же правда? Если эти изодранные тела, что похоронили там на кладбище, все же ее сыновья, ее красивые, крепкие сыновья? Другие верят этому, они даже поставили памятник, где золотыми буквами написано: „Павел Ротт", „Фридрих Ротт", „Ян Ротт". Но если они там лежат, там, под покрытой снегом землей, тогда они уже не могут вернуться, никогда не поднимутся на подъемной машине, никогда больше не откроют дверь лачуги, никогда не скажут: „Добрый вечер, мать, мы очень голодны!" Тогда, ведь, не имеет никакого смысла каждый вечер выходить к шахте,



— Здесь лежат ваши бедные сыновья...

ждать, тогда весь день, который только для того существует, чтобы кончиться вечером, когда можно выйти к шахте и ждать,—не имеет никакого смысла. Тогда вся жизнь не имеет никакого смысла, безцельна. Всепожирающий страх охватил старую женщину, она кричит: „Андрей, Андрей!"

Мальчик осторожно приближается к старушке.

— Андрей, не правда ли, ведь ты лгал, ведь ты, неправду, сказал? Старый Петр Леэр тебе этого не говорил? Прошу тебя, Андрей, скажи, ты солгал, ты боялся, что я буду тебя ругать?

Полубессознательно мальчик дает себя уговорить, плачущий, молящий голос старухи влияет на него, он говорит вначале отрывисто, затем все быстрее: „Да, тетя Мария... Я лгал. Это неправда". И спохватившись прибавляет: „Если ты сама захочешь пойти, может быть они придут уже завтра".

Когда на следующий день Андрей накрыл стол, старуха его позвала к себе, к кровати:

— Помоги мне встать, Андрей, ноги не хотят мне больше служить. Я должна пойти за парнями, они меня ждут.

— Ведь на улице снег идет,—озабоченно произнес мальчик.

Старуха смеется:—Это хорошо, парни будут очень довольны притти сейчас в теплую лачугу. Они увидят, как мы о них заботимся.

С тяжелыми усилиями старушка еле-еле оделась. Она пошла, опираясь на палку, с другой стороны ее поддерживал мальчик. Вся дрожа, старушка пошла в глубокую темноту холодной зимней ночи, еле подвигаясь вперед.

Корзина поднимается вверх, темные силуэты, как черные тени, направляются в казармы. Пара старых, внимательных глаз врезаются в темноту, останавливаясь на каждом проходящем. Мария Ротт сомневается, дрожит, что-то бессвязно бормочет про себя. Большая рука тихо опускается на ее плечи; Петр Леэр стоит около нее. „Иди домой, Мария, сегодня они уже не придут".

Она пронзительно кричит, осознала действительность: Сегодня не придут, завтра не придут, послезавтра не придут, никогда, никогда больше не придут!..

Андрей крепко ее держит, уговаривает: Идем, тетя Мария, пойдем домой.

Она падает на землю, плачет, рычит, как раненое животное, бьется в судорогах. „Никогда больше, никогда“! Безумный крик замирает на ее губах, ее костлявые старые руки протягиваются к шахте, пытаются что-то вырвать из темноты, бессильно опускаются вниз.

Два углекопа понесли ее домой, Андрей полный страха, поплелся за ними, все время крепко держась за конец ее платка.

В эту ночь она умерла.

ГЛАВА III.

Андрей родился в черном царстве. Все было черно, покрыто пылью каменного угля; ничего другого он не видел и не мог себе представить. Его босые детские ножки взвивали по черной дороге целые облака мелкой, проникающей во все поры пыли. В этой унылой стране все было окутано черной дымкой. Даже солнце потеряло здесь свой блеск и красоту. С чем ни встречались его детские глазки, с зеленью ли запыленных листьев, с убогими огородами, с грязью черных грядок,—все это уродливо, бессильно тянулось к солнцу, жаждало света. Его легкие вдыхали пыль каменного угля; холодный северный ветер, теплое дуновение южного весеннего ветерка, все несло, взрывало, поднимало вверх столбы черной мелкой пыли. В этом царстве угля не знали яркой зелени лета, не знали белизны зимнего снега, каменный уголь побеждал своей тяжестью, покрывал все своей чернотой. Казалось, что угольная пыль проникает даже в мозг, в душу людей, заставляет их мыслить по иному, делает их серыми, угрюмыми, притупляет их восприимчивость. Они видели мир сквозь серые очки, не видели ярких красок, все стало для них суровым, твердым, угрюмым.

После смерти старой Марии Ротт, Лина очутилась в довольно затруднительном положении. Что ей теперь делать с пятилетним ребенком? Куда его пристроить? Старушка держала его у себя за недорогую плату; другая потребует больше, но Лина не могла и не хотела больше платить. Она подкараулила надсмотрщика, начала его просить, умолять, ругала его, грозила, пока он не сдался. Он недавно женился и старался избегать скандалов, чтобы не рассердить молодую жену. На следующее утро, при первых холодных лучах рассвета, Лина разбудила спящего ребенка.

— Вставай, Андрей. Ты пойдешь со мною в шахту.

Мальчуган, дрожа, одевался, глядел испуганными глазами на мать. Он боялся своей матери, никогда его не ласкавшей, и еще больше боялся этой черной шахты, куда он должен был спуститься. Она казалась ему ужасной, бесконечно глубокой ямой, из которой очень трудно найти выход. Ему казалось, что эта яма поглотит его навсегда.

Бледное зимнее солнце вяло освещало спуск в шахту. Андрей смотрел на большой плоский, солнечный диск, как бы прощаясь с ним. Увидит ли он его снова, или может быть он точно так же, как сыновья тети Ротт останется там внизу, может быть, огонь и его сожрет?

Лина нетерпеливо толкнула съежившегося от страха ребенка в подъемную машину. Андрей судорожно вцепился в материнскую юбку, закрыл глаза. Раздался сигнал. Он с замирающим сердцем почувствовал, как он, корзина и все, находящиеся в ней, летят с бешеной быстротой вниз, вниз, в необъятную глубину. Он боялся раскрыть глаза, ему хотелось громко плакать, но он слишком боялся матери. Из его закрытых глаз потекли слезы. Кто-то обнял его, и мягкий старческий голос Петра Леэра ласково сказал ему:

— Неужто ты боишься, Андрей? Ведь ты возвращаешься к себе на родину, ведь ты же там родился.

Андрей не понял этих слов, но все же обрадовался, чувствуя защиту в старике и доверчиво прижался к нему.

Подъемная корзина сразу остановилась. Лина грубо вытолкнула ребенка:—Смотри, Андрей, иди за мной, не отставай!

Мальчик с робостью оглядывался в этой новой для него черной клетке; всюду царила таинственная, пугающая темнота, неясные тени мелькали то здесь, то там. У каждой тени на груди был прикреплен маленький фонарик, бессильно боровшийся с мраком. Удушливый, тяжелый воздух спирал дыханье Андрея; тяжело дыша, он плелся за матерью по бесконечным узким коридорам, пока они, наконец, не дошли до места, где стояли тачки.

— Садись, сказала Лина, смотри, не попадайся мне на глаза, не мешай мне !

Мальчик послушно уселся. Неподвижно наблюдал он, как подавали уголь из штолен и как мать нагружала тачки.

Несмотря на боль в пояснице, несмотря на озлобленность, Лина беспрерывно нагибалась, нагружала уголь. Она всегда чувствовала усталость. Уже вставая утром, ощущала свинцовую тяжесть во всем теле, даже во сне ее преследовала болезненная утомленность. Ее глаза слезились, болела грудь, она иной раз прерывала работу, чтобы хоть немножко откашляться и плюнуть черную слизь изо рта.

Присутствие ребенка раздражало ее, усиливало ее злобу. Когда мальчика не было с ней, она совершенно о нем забывала, теперь же он напоминал о тех тяжелых часах, которые она провела тут же на этом месте, когда он родился, о деньгах, которые ей приходилось тратить, и о тех заботах и страданиях, которые этот негодяй еще принесет ей. Она думала и о том, что у нее нет никакой надежды найти мужа, что ей придется навсегда остаться одинокой,—ведь, никто не согласится взять ее с ребенком. Кому она нужна?

Острый уголь колол, как иглы, уже и без того растрескавшиеся руки Лины.

— Мама, спросил осторожно мальчик, разве тут всегда ночь?

Этот вопрос рассердил ее.

— Да, там, где мы живем, всегда ночь! Другие люди видят свет, их греет солнце. Им не приходится беспрерывно сотни тысяч раз нагибаться и каждый день нагружать этих проклятых собак [1]). У них не ломит поясница. Мы же осуждены работать в этой вечной темноте.

— Почему?

Он поднял кусочек угля, упавший с тачки и рассеяно играл им, ломая свою детскую головку над словами матери. Петр Леэр вышел, пошатываясь, из штольни, глаза его беспрестанно моргали, и он прикрыл их рукой.

— Что случилось, Петр?—спросила Лина.

— Глаза мигают,—ответил старик,—все танцует перед моими глазами. И ты и собаки двоятся у меня в глазах.

— Тебе следовало бы отдохнуть несколько дней.—Грубый голос Лины стал при этих словах мягче. В разговоре с Петром Леэр все рабочие в шахте делались как-то добрее и мягче.

---

[1]) Так на языке углекопов называют тачки.

Старик грустно улыбнулся:—Нельзя, Лина. Теперь, когда Павел учится, нам нужно много денег. Когда-нибудь впоследствии мальчик будет нас содержать, тогда и я смогу отдохнуть.

И зачем это нужно мальчугану лезть так высоко,—проворчала Лина,—он отлично мог бы сделаться углекопом, как и его отец.

— Его тянет к книгам, он точно голодающий перед барским столом, ему все хочется узнать. А, ведь, это очень хорошо—многое знать.

— Да, для богатых, у них есть для этого и время и деньги, а мы ... кажется, он учится в той же школе, где и сын нашего господина?

— Да, он учится вместе с сыном владельца шахты.

Петр Леэр намеренно подчеркнул последние слова и затем продолжал своим обычным ровным тоном:—У нас только один господин, Лина,—господь бог. Терпеть не могу, когда какого-нибудь человека называют „господином".

— А разве он не господин для нас,— гневно воскликнула Лина Мерц.—Я ничего не знаю о боге, но твердо знаю, что мы все зависим от нашего господина, что мы должны для него работать, и что он может нас уволить, когда ему заблагорассудится. И разве сам он не верит тому, что он наш господин? Ведь, он и говорит с нами, и смотрит на нас, точно мы грязь какая-нибудь и...

— И все же мы дети одного отца, Лина, и все равны перед богом.

Лина Мерц злобно рассмеялась.

— Прекрасное равенство, когда один щеголяет в лохмотьях, а другой одет в шелках. Один бездельничает, а другой должен трудиться. Да, мы, конечно, все равны между собою, богатые и бедные.

— А кто это богатые?—спросил Андрей.

Старик утирал в это время больные глаза запачканным угольной пылью носовым платком и не ответил на этот вопрос, зато Лина Мерц тупо сказала:—Все другие.

Когда Андрей вылез из подъемной корзины, он удивленно оглянулся вокруг. Он был глубоко убежден, что ночь царит только в глубине шахты, а что наверху он опять увидит

дневной свет. Но ранняя зимняя ночь окружила своей темнотой все дома, а снег был покрыт угольною пылью.

— Разве здесь тоже ночь?—изумленно воскликнул мальчик.

— Болван,—отозвалась мать.—А что же ты воображал?

Андрей расплакался.—Мама, мама, неужели мы все время теперь будем жить в темноте?

Лина Мерц устало плелась по дороге, она повернула голову к мальчику и с отчаянием в голосе произнесла: Не знаю.

ГЛАВА IV.

Потянулись черные дни. Ночи над землею, едва освещенные бледным светом звед, следовали за ночами под землею, едва освещенными мутным светом маленьких шахтерских лампочек. Короткие солнечные дни проходили внизу в черных волнах вечной ночи. Часы, дни, недели и месяцы серо и бесцветно шли друг за другом.

Мало-по-малу Андрей перестал бояться подземного мира, даже привык к нему. Правда, у него еще сжималось горло, и его маленькое сердце усиленно билось, когда подъемная корзина опускалась в шахты; но стоило ему очутиться внизу, страх приходил. Он садился на землю, играл кусочками угля, строил из них дома и мосты. Иногда он сопровождал Петра Леэра в его обходах и широко раскрытыми глазами смотрел, как еще сильные руки старика умело обращались с разными шахтерскими инструментами. Но больше всего мальчик любил взрывы. Они доставляли ему особую радость, смешанную с ужасом, напряженное ожидание, затем страшный раскат грома,—неизменно пугающий его, несмотря на тревожные ожидания,—и глухие расскаты, постепенно замирающие в глубине шахты.

В конце концов темнота, исчезающий сероватый свет, смутные очертания людей—все это стало казаться Андрею вполне естественным. Его детские глаза начинали усиленно моргать, когда на них падал солнечный свет, он ощущал острую боль, торопливо опускал веки. Вечная мгла окутала словно покрывалом его маленький мозг, притупила его мысли и движения. И если вначале ему страшно хотелось жить наверху, греться в солнечных лучах, ощущать дуно-

вение ветерка, то мало-по-малу бледнели все здоровые желания, побуждавшие его избавиться от вечной ночи. Коварное дыхание серых сумерек отравило его детскую кровь покорностью. Он больше не спрашивал „почему"? Он знал, что все идет так, как должно итти. Рано пришлось ему узнать непреодолимую силу слова „должно", не вызывающего никаких сомнений. И когда жестокая рука матери преждевременно ввела труд в его детскую жизнь, он покорился ей безмолвно. Лина Мерц, у которой без передышки болела спина и кружилась голова, не могла выносить вида ничем не занятого ребенка.

— Помоги накладывать уголь,—резко приказала она, и Андрей послушался.

Так как ему было всего шесть лет от роду, то он рано понял, что значит усталость. Не здоровая усталость молодых зверят после веселой игры, а тупая, парализующая усталость взрослого рабочего, словно ядом отравляющая кровь. Он точно удара кнута боялся материнского окрика:—Что ты тут торчишь, без дела? Скорее за работу!

Петр Леэр не раз упрекал Лину. Ее бледно-серое изможденное лицо покрывалось краской.—Вовсе он не рано начал работать, сопляк. Ведь, он не будет, как твой Павел ученым барином, а будет здесь внизу зарабатывать свой кусок хлеба.

Эти слова острыми иглами впивались в утомленный мозг Андрея и причиняли ему острую, колющую боль. Свой кусок хлеба... И вдруг его охватило воспоминание о теплых, сияющих летних днях. Проводить всю жизнь здесь, день за днем, пока он не состарится и не будет таким же стариком с белыми волосами и красными, моргающими глазами, как Петр Леэр? Необъяснимый ужас заставил его воскликнуть:—Неужели я навсегда останусь здесь?!

Ему померещилось, что злобная радость скривила губы матери, когда она ответила:—Да, навсегда.

Андрей больше не спрашивал „почему?" Шахта научила его, что на этот вопрос нет ответа.

Проходивший однажды обер-штейгер, увидев ребенка, обеими ручонками наклацывающего уголь в подъемную корзину, довольно кивнул головой:—Вот это хорошо! Хороший рабочий всегда рано начинает трудиться.

Лина Мерц мрачно уставилась на говорящего и спросила сдавленным голосом: – А сколько лет вашему сыночку, господин обер-штейгер?

Обер-штейгер изумленно взглянул на нее: —Ему почти три года.

— А скоро он спустится сюда работать?

Обер-штейгер гневно наморщил лоб.– Что за нагласть! Он поспешно повернулся и пошел дальше.

Лина Мерц смотрела ему вслед; ее губы дрожали. Она внезапно бросилась на колени перед Андреем, схватила его маленькие замазанные ручонки, из которых уголь просыпался на землю, и страстно начала целовать их.—Перестань работать, Андрей!

Мальчика испугала непривычная нежность.—Что с тобою, мама?—Лина Мерц закрыла руками лицо, прорыдала:—Жизнь— это ад, ад...

ГЛАВА V.

Старый Петр Леэр больше не будет спускаться в шахты, никогда не возьмет в свои сильные руки мотыги или сверла, никогда поутру не сядет первым в подъемную корзину, чтобы к вечеру выйти из нее последним. Его старые глаза отказались служить. С тяжелым сердцем узнал он о своем увольнении. Как ни малы его потребности, все же он едва сможет существовать на крошечную пенсию, выплачиваемую ему предприятием.

Его, впрочем, чествовали: один из служащих произнес речь, в которой воздавал хвалу старому углекопу, в течение долгих 40 лет верно служившему своему делу. Андрей прислушивался, и судорога сжимала его горло. Ему не совсем ясен был смысл слов: „40 лет верной работы". В четыре раза больше, чем ему, Андрею, от роду. Он робко взглянул на Петра Леэра, и пытливая, бессознательная справедливость детского возраста шептала ему: „а что получил он за 40 лет работы?" Он видел перед собою старого, сгорбленного человека с серым лицом, потухшими глазами, сведенными пальцами, худого и тщедушного. Перед этим стариком стоял чиновник, молодой человек, свежий и здоровый, хорошо одетый, жизнерадостный. Андрей сравнил их между собою: „почему такая разница?" Но он не долго задумывался над этим. Опять серая ночь шахты окутала своим покровом его усталый мозг, и тяжелая усталость заглушила его мысли Но то, что неясно сознавал Андрей и не умел выразить словами, громко высказал Павел Леэр, приехавший на каникулы.

— Ведь ты работал, как вьючное животное, отец, гневно воскликнул сын,—и что ты получил за это?

Старые наполовину слепые глаза Петра Леэра взглянули в юное лицо, и, полный радости свидания, он рассеянно ответил:—Благословение труда...

Павел Леэр горько рассмеялся:—Труд достался тебе, а благословение другим... И затем прибавил с болезненной улыбкой:—Ах, если бы вы не были так возмутительно довольны своей судьбой, отец! Рассуди ты сам. Ты работал 40 лет, день за днем, и теперь ты состарился. Что же осталось тебе? Жалкая пенсия, нехватающая на жизнь, и слепые глаза. Действительно, прекрасная старость! Старость, какая же тебе награда? Но разве вообще у рабочих бывает когда-нибудь счастливый возраст? Голодное, холодное детство, утомительные, полные забот зрелые годы, беспомощная, нищая, лишенная радости старость.

Петр Леэр опустил голову, вытер слезящиеся глаза, тихо промолвил:—Ты прав, Павел, что много неправды и зла на нашей земле. Я это и сам себе говорю, когда вижу работающую беременную женщину или детишек. Но, ведь, не всегда же так будет, когда-нибудь во всех сердцах людей расцветет любовь. Ведь, придет же время царствия божия.

Бедный, старый мечтатель! Неужели ты серьезно веришь, что в сердцах предпринимателей и шахтовладельцев может расцвести любовь?

Мутные глаза старика растеряно взглянули на сына.

— Но, ведь, я должен верить в это, Павел, иначе сердце мое давно разорвалось бы от боли. Ты молод, но ты многому учился, ты умнее меня, ты должен знать, что дальше так не может продолжаться.

—Это я знаю,—молодой голос прозвучал с непрерывной для него жестокостью,—но не посредством проповеди о любви нужно завоевать царство божие. Ваш спаситель проповедует любовь вот уже около двух тысяч лет. Кто следует его учению? Пара бедных дураков, которых распинают так же, как когда-то распяли их пророка. Но мы сумеем, может быть, иначе добиться своей цели.

Петр Леэр задумчиво промолвил:—Может быть это было бы и хорошо, если кто-нибудь добился бы этого. Мы, ведь, только молчали и работали, но мне не хотелось бы, чтобы такая же судьба выпала на долю нашим детям.

Он помолчал минуту, взглянул на сына, сказал твердым голосом, и глаза его, эти бедные, усталые глаза засверкали: —А все же добро победит, Павел. Они повсюду устраивают ясли для наших детей, строят больницы, дают старым рабочим пенсии....

Кулак юноши ударил по столу.

— Вот именно! Ведь, они обманывают вас, водят вас за нос! Неужели ты действительно думаешь, отец, что хозяева все это делают из человеколюбия, из любви к вам? Ведь, они не глухи, они слышат неясный ропот, раздающийся глубоко под землею и потому бросают вам крохи своего излишка: на-те, будьте довольны! А вы позволяете им дурачить себя!

— Павел,—старческий голос звучал мольбою,—мы стары, мы всю жизнь работали в шахте, во тьме. Мы ничего не знаем. Мы только чувствуем нашу скорбь, но не знаем пути, ведущего к свету. Вы, молодые, должны нам помочь. Я знаю, что существует вечная справедливость, к которой стремится человеческое сердце, но одни не видят ее, потому что они косятся только на золото, а другие с незрячими глазами бродят во тьме. Наши дети должны принести нам свет.

Пребывание Павла Леэра в угольном районе вызвало некоторое волнение. Углекопы приходили в комнату Петра Леэра, напряженно, испуганно прислушивались к смелым речам юноши. Кивали в знак согласия головой, когда он говорил об их нужде, но испуганно отшатывались от него, когда он побуждал их к открытому действию, требовал, чтобы они перестали терпеливо покоряться обстоятельствам.

— Профессиональный союз?—с сомнением в голосе переспросил один старый шахтер,—для чего он нам нужен? Кроме того, хозяин непременно уволит нас, если узнает об этом.

Лина Мерц, которую любопытство привело в хижину Петра Леэра, с отчаянием в голосе проговорила:—Нам ничто не поможет! Мы родились в бедности и скорби, живем в нищете и в горе, да и умрем при том же. Кто может нам помочь? Так было всегда, так будет и впредь.

Андрей, пришедший вместе с матерью, внимательно озирался кругом. Вечерние тени сгущались в комнатке старика. На стенах вырисовывались, словно вырезанные из черного дерева, лица углекопов и их жен,

отражавшие безнадежное отчаяние. Это были словно призраки из царства теней. Окружавшие их сумерки придавали им странный, таинственный вид. Последние лучи заходящего солнца проникли в маленькое окошко, осветили все окружающее и ярко озарили вдохновенное лицо Павла Леэра и всю его высокую худощавую фигуру. Чудилось, что именно от него исходит свет. Андрей испытывал странное чувство. Ему показалось, что он видит дневной свет впервые с того момента, как он начал свою работу в шахте. Что-то сильное, молодое, жизнерадостное вошло в его душу, он увидел человека, приносящего свет во мрак его ночи, человека, который олицетворял собою свет. И мальчик с уважением и робостью смотрел на Павла.

Ночь спускалась все ниже, темные силуэты углекопов слились с окружающими предметами и только на лице Павла Леэра, агитатора, лежал яркий отблеск.

Странные, новые слова раздавались в угольном районе. Старый Петр Леэр повторял их, словно слова евангелия: социализм, профессиональный союз, свобода, права. До сих пор он не знал, что ему принадлежат какие-то права, он знал только свои обязанности: подчиняться, трудиться, быть всегда довольным. Хотя старый Петр, будучи благочестивым христианином, несмотря на условия своей труженической жизни, никогда не терял сознания своего человеческого достоинства. Но он хранил это сознание в глубине души и, может быть, даже не уяснял себе, что именно это достоинство и требует признания за ним известных прав. Но вот пришел его сын, молодой, сильный, полный новых знаний, повергающих старика в немое почтительное изумление. И этот сын учит старика и его товарищей, этих отщепенцев, этих вьючных животных, что они имеют права в этом мире, созданном их тяжким трудом. Больше того, он говорит, что весь этот мир когда-нибудь будет принадлежать трудящимся.

Петр Леэр прислушивался к словам нового евангелия и сравнивал их со словами библии. Он был вполне удовлетворен, когда прочел в святом писании слова: „Народ, блуждающий во мраке, увидит великий свет, и свет этот засияет надо всеми, живущими в темном царстве... Ибо ты взял их иго на себя и сломил гнев их вождей“...

Павел Леэр ходил из дома в дом, говорил с отдельными лицами, с группами людей и всем им, мужчинам и женщинам, ежечасно проповедывал новое учение.

Разумеется, это не могло скрыться от бдительности начальствующих лиц. Через три недели после приезда Павла, к Петру Леэру пришел один из высших служащих правления и заявил ему, что сын его должен либо прекратить свою агитацию среди рабочих, либо покинуть угольный район, в противном же случае Петр Леэр лишится своей пенсии.

С тяжелым сердцем Петр Леэр сообщил об этом сыну. Павел злобно улыбнулся:—Как они боятся правды! Это лучше всего выдает их слабость.—Он бросил печальный взгляд на отца,—значит, нужно уезжать...

Петр Леэр глубоко вздохнул:—Мы могли бы провести вместе еще пять недель, Павел; кто знает, увижу ли я тебя, когда ты приедешь на Рождество,—ведь я слепну с каждым днем.

Старые, воспаленные глаза упорно устремлялись на юное лицо, словно хотели сохранить и в надвигающемся мраке его светлый облик. Старик плакал, когда прощался с сыном, но твердил с непоколебимой верой:—Твоих сыновей никто не посмеет отнять у тебя, милый Павел. С тех пор, как я услышал твои речи, я убежден, что скоро наступит наше царство.

Андрея Мерц тоже огорчил отъезд Павла; он искренно и глубоко полюбил молодого человека, он осмеливался убегать от матери, чтобы повидаться с Павлом. Лина Мерц не сердилась за эти отлучки; за последнее время она проявляла больше доброты к сыну и даже иногда разговаривала с ним.

За последние годы Андрей посещал школу, учился чтению и письму. Он охотнее всего сидел бы за книгами, но мать не позволяла. Павел Леэр оставил мальчику несколько книг и Андрей читал их запоем. Ему приходилось каждый день спускаться с матерью в шахту и помогать ей при нагрузке угля. Он пытался по вечерам читать при свете сальной свечки, но буквы расплывались перед его глазами, и усталая голова отказывалась работать. Мальчик часто засыпал над книгой, и тогда Лина Мерц с руганью тушила свечку, трясла мальчика за плечи и приговаривала:—Ступай

спать, Андрей, чтением могут заниматься только богатые, ты напрасно жжешь свечку. Она отобрала у него книги и заперла их в шкаф.

Андрей плакал, спрашивал мать с горечью и со слезами:— Почему все существует только для богатых, а не для нас?

И Лина Мерц угрюмо повторяла свой вечный ответ:— Так было всегда, так будет и впредь.

ГЛАВА VI.

Когда Андрею минуло двенадцать лет, и он превратился в высокого бледного мальчика с усталым, скорбным лицом, случилось нечто, взволновавшее весь угольный район. Один из углекопов, Яков Карнер, которого товарищи называли „Черным Яковом", получил письмо от брата из Америки. Черный Яков несколько раз перечитал письмо, помотал своей чернокудрой головой и с угрожающим жестом ударил кулаком по столу. Затем он опять взял письмо в руки и внимательно изучал его от слова до слова.

Вечером он пришел к старому Петру Леэру, уселся рядом с ним на скамейку перед хижиной и спросил:—А как далеко от нас Америка?

Почти слепые глаза Петра повернулись к углекопу. — Очень далеко, за океаном. А почему ты об этом спрашиваешь?

— Да вот, брат пишет, чтобы я к нему приехал. Он там разбогател, у него большая ферма в Техасе. Я тоже смогу разбогатеть, в Америке все богатеют. И там нет такой рабской жизни, как здесь. Я поеду в Америку.

Последние слова он повторял ежедневно, ежечасно, они казались ему лучшим ответом на все его вопросы и стремления. Письмо, прилетевшее из-за океана, перечитывалось им бесчисленное количество раз, то в шахте при мерцающем свете лампочек, то в кабачке, то в лачугах отдельных углекопов. Якову Карнеру казалось, что он открыл новую страну, золотой мир грез, где честная работа может обогатить человека, где все равны и всем одинаково светит солнце. Слово „Америка" обозначало необозримые зеленые пастбища, великолепные стада — собственные пастбища и

собственный скот; обозначало уютный домик с садом—собственный домик в собственном саду. Америка обещала отдых старикам, счастливое будущее для детей, а для взрослых—возможность честно трудиться и наслаждаться плодами своих трудов.

— Деньги там валяются прямо на земле, стоит только нагнуться и поднять их,—проповедывал Яков,—заработная плата высокая, а самая работа легче, чем здесь. Там и рабочий считается человеком. Там нет никаких королей, никаких императоров, американцы—хитрые люди—давно убрали их к чорту.—Все, о чем мечталось изнуренным людям, все их стремления и мечты, все это должно было осуществиться в этой сказочной стране. Там ждало их счастье, там не было ни холода, ни голода, ни несправедливости.

Некоторые старики возражали, что нужно ехать морем, что судно может погибнуть, а затем люди в Америке говорят на другом языке. Но Яков Карнер громко смеялся:—Пароходы—величиною с большой дом, на них безопасно плавать, ведь, мой брат не утонул. А что касается языка, то... Он поднял кверху свои сильные, мускулистые руки:—Этот язык поймут везде, а работать я могу за десятерых.

Во всех лачугах шли подсчеты и выкладки, все сбережения пересчитывались, и бедняки соображали—хватит ли на дорогу в Америку?

Брат Якова Карнера прислал ему денег и подробно написал, во сколько ему обойдется путешествие.

Яков Карнер и трое его товарищей попросили увольнения. Получив его, Яков в тот же день вечером обратился к Лине Мерц, с вопросом:—Не хочешь ли поехать со мною, Лина? Я оплачу твой проезд.

Лина Мерц недоверчиво взглянула на говорившего. „С тобою в Америку"? С нее точно свалилось громадное бремя, она выпрямилась, закинула голову и блестящими глазами взглянула на черного Якова. Не испытывать больше нужды, не убиваться над работой до боли во всем теле, вспомнить, что она еще молода, снова почувствовать себя человеком..

Но на ее радость упала мрачная тень.—А мальчик? пробормотала она.

— Мальчика взять не могу: на троих не хватит денег. Но, ведь, он уже подрос, может в шахте зарабатывать кусок хлеба, как нагрузчик. А на будущий год мы пришлем ему денег на проезд и выпишем к себе.

Лина Мерц тяжело вздохнула; с одной стороны ей мерещилось счастье, свобода, деньги, а с другой,—ребенок, которого она против желания носила и родила, нелюбимый, связавший ей руки.

А Яков Карнер настаивал:—Не раздумывай долго, Лина, через неделю уходит пароход.

— Мне нужно переговорить в управлении; Андрей еще слишком молод, а, ведь, воспрещено брать на работу детей.

Яков рассмеялся:—Андрей с 6-ти лет работает в шахте и никто не сказал до сих пор ни слова. Да он и выглядит старше, он такой длинный.

Лина переговорила с обер-штейгером. Сначала тот отказал, а потом согласился. Андрея Мерц зачислили в рабочие, а вместо 12-ти лет написали, что ему все шестнадцать. Старый Петр Леэр выразил желание взять к себе мальчика и кормить его за уборку комнаты.

Андрей был глубоко огорчен. Ему не жаль было расставаться с матерью, но ему так хотелось уехать в страну чудес, в страну счастливых, свободных людей.

Вечером накануне отъезда эмигрантов, произошла прискорбная сцена между Линой Мерц и пастором, еженедельно посещавшим деревню для богослужения. Высокий, сухой пастор зашел в хижину Лины Мерц и осыпал ее упреками в том, что она бросает сына и думает только о себе. В заключение он сказал ей, что она скверная женщина и скверная мать. Лина вскипела:

— Да, я гадкая мать, да, я бросаю моего ребенка, я не люблю его, я была бы рада, если бы он родился мертвым. Но разве у меня было время сделаться хорошей матерью? Ведь, я с утра до ночи работаю на вас. Для ребенка у меня нет ни времени, ни силы. У меня не было времени радоваться своему ребенку; когда он был малюткой, я должна была отдать его чужим людям. Когда он подрос, я заставила его работать, нагружать уголь бедными маленькими ручками, заставляла его помогать мне работать—все для вас. Теперь

меня гонит отсюда нужда. Я хочу узнать, каково живется людям, ведь, до сих пор мы чувствуем себя рабочим скотом. Если из меня вышла скверная мать и скверная женщина, бессердечная, неспособная любить своего ребенка, то это вы сделали меня такой. Мне некогда было любить ребенка, некогда было проявлять свою доброту. Все мое время, все мое тело, вся моя сила принадлежали вам, они достались вам за недорогую цену!

Возмущенный пастор говорил ей много жестоких, укоризненных слов, но Лина не отвечала ему больше ни слова.

— Это все развращающее влияние молодого Леэра,—стонал пастор, уходя от Лины.—Нужно позаботиться, чтобы этот юноша больше не приезжал в наш район.

На следующее утро пять эмигрантов уехали. Их путь лежал на восток, казалось, что они прямо идут навстречу восходящему солнцу.

За ними оставалась деревня, окутанная дымкой угольной пыли.

— Но разве у меня было время сделаться хорошей матерью?..

ГЛАВА VII.

Андрей Мерц придвинул горящую свечку, судорожно обхватил пальцами перо и начал писать. Это давалось ему очень трудно, хотя ему было уже более 16-ти лет, но он в 12 лет ушел из школы и с тех пор не держал пера в руке. Сначала ему не удавалось выразить свои мысли словами. Несмотря на то, что в маленькой комнате было холодно, ему вдруг сделалось жарко. Пока он писал, в нем постепенно наростал гнев, сжимавший ему горло. Андрей Мерц писал:

„Милый Павел!

Сегодня похоронили вашего отца. Он хворал в течение недели и очень страдал. Ему было так тяжело, что он вас больше не увидит. За пять дней до смерти он послал меня в контору с просьбой, чтобы они разрешили вам приехать к нему, но они не позволили. Он просил также и пастора замолвить господам за вас доброе словечко, но я думаю, что пастор этого не сделал. Когда я принес старику ответ из правления, он горько плакал. Так мучительно было видеть слезы, бегущие из его слепых глаз. Накануне его смерти я ему солгал, потому что не мог вынести его горя, сказал ему, что вы приедете и скоро будете около него. Он очень обрадовался, и, как ребенок, повторял всем людям, приходившим его навестить: „Мой Павел, скоро приедет".

Милый Павел, я ухаживал за вашим отцом, как мог, но у меня было мало времени, потому что я должен был работать в мастерской. В нашей деревне поселилась чужая девушка из Восточной Пруссии, ее зовут Марта Туссек, она ухаживала за стариком и была к нему добра.

Перед смертью ваш отец все время спрашивал: „Когда же приедет Павел? Он должен скоро приехать!“ Потом он несколько часов был без сознания, что-то бормотал, воображая, что он работает в подземной шахте, потом он вдруг вытянулся, глубоко вздохнул и громко сказал: „Я устал, работа слишком тяжела.“ Потом он уже больше не говорил ни слова и через три часа умер.

Вы, конечно, будете очень опечалены, да и я тоже, ведь, я очень любил вашего отца.

На похоронах пастор сказал длинную речь, что-то о верном рабе, который получит небесную награду. Мой товарищ, Фриц Браунер, стоявший рядом со мной, шепнул мне: „Надо надеяться, что небесное вознаграждение несколько выше, чем земное, иначе бедному старику придется голодать и на небе.“

Я был зол на пастора: небось теперь он говорил прекрасные слова, а когда старик был жив, то он не захотел исполнить его последней просьбы.

Вот и все.

Всего хорошего вам.

Андрей Мерц.“

Андрей положил перо, подпер руками голову и задумался. Он думал о старике, лежавшем теперь на кладбище, вспоминал 4 года совместной жизни с ним. Петр Леэр совершенно ослеп. По утрам Андрей одевал его; в теплые, солнечные дни выводил из хижины и усаживал на скамеечку, а зимою и в дождливые дни—в кресло у окошка. И старик сидел целыми часами без движения, глядя перед собою незрячими глазами. О чем он думал? О пролетевшей-ли молодости, или о своих тяжких трудах в зрелые годы? Андрей не знал этого, но смутно чувствовал, что результатом всех этих воспоминаний являлось следующее размышление: „Я работал, как вьючное животное, и всю жизнь прозябал и нуждался.“ И сам Андрей в 16 лет мог сказать почти то же самое—неужели его тоже ожидает подобная старость, слепота, беспомощность, одиночество и бедность? И ему приходило на память любимое выражение матери: „Так всегда было, так будет и впредь“. Вдруг ему вспомнился вечер, когда Павел Леэр в комнатке отца говорил перед углекопами. Он мысленно увидел лицо говорящего, освещенное лучами заходящего

солнца, видел очертания слушателей, находившихся в тени. Да, где-нибудь есть свет, а мы блуждаем в ночной темноте.

Его охватило отчаяние. Как это было нелепо—день за днем спускаться в шахты, работать много часов подряд в черном, вонючем пространстве, безумно уставать к вечеру, переходя из подземной темноты в ночную темноту над землей. Он знал, что на свете, кроме всего этого, существует еще что то другое; книги, изредка посылаемые ему Павлом Леэр, могли бы ему об этом рассказать. Но как урвать время для чтения? Его глазам, привыкшим к темноте, больно смотреть на свечу, а в свободное время у него только одно желание,— заснуть.

Послышался тихий стук в дверь, и Фриц Браунер показался на пороге.

— Все еще горюешь о старике? Пойдем лучше со мной.

Андрей Мерц не сразу понял смысл обращения, он растерянно взглянул на товарища и произнес, точно в полусне:

— Фриц, для чего живет рабочий?

Здоровый парень рассмеялся:—А разве ты не знаешь? пойдем я тебе покажу!

Он схватил Андрея за руку и потащил его за собой. Они пришли в кабачок. Фриц заказал водки и пододвинул Андрею полный стакан: „Пей, веселее будет!"

Андрей Мерц никогда не пил алкоголя; первый стакан показался ему невкусным, но ему понравилась теплота, разливавшаяся по всему его телу. Его тяжкая печаль точно отлетела от него. Он выпил второй стакан, а за ним и третий.

Две девушки заглянули в открытую дверь, засмеялись и подмигнули. Фриц встал. „Теперь ты увидишь, зачем мы живем". Он обнял одну из девушек, а другую толкнул к Андрею и, смеясь, проговорил: „Он еще очень робок, тебе придется приручить его."

Они ушли из кабачка и направились в ближайший лесок. Из серых низких туч шел холодный мелкий дождь. Андрей зашатался, выйдя на свежий воздух. Девушка положила руку ему на плечо. Лишь только они дошли до леса, как Фриц и другая девушка пропали из глаз.

Андрей сел на сырую землю, рядом с ним уселась девушка и стала покрывать его лицо поцелуями. Ее жесткие руки ласкали его. Его охватило неизведанное и пугающее

чувство, он прижал к себе девушку, ощупал ее мягкие груди и ее крепкие молодые ноги. Она вскочила и, смеясь, остановилась перед ним. С полузадушенным криком, Андрей бросил ее на земь и сам бросился на нее...

Дождь все усиливался, серый туман окутывал деревья. Ветер заунывно стонал на верхушках деревьев. Несказанная грусть охватила Андрея Мерц. Он сразу протрезвился. Пробормотал себе под нос: „точно скотина", но сам не знал, откуда пришли ему на память эти слова, и что они обозначают. С невыразимой брезгливостью он оттолкнул от себя девушку, она подползла к нему на коленях, обняла за шею.

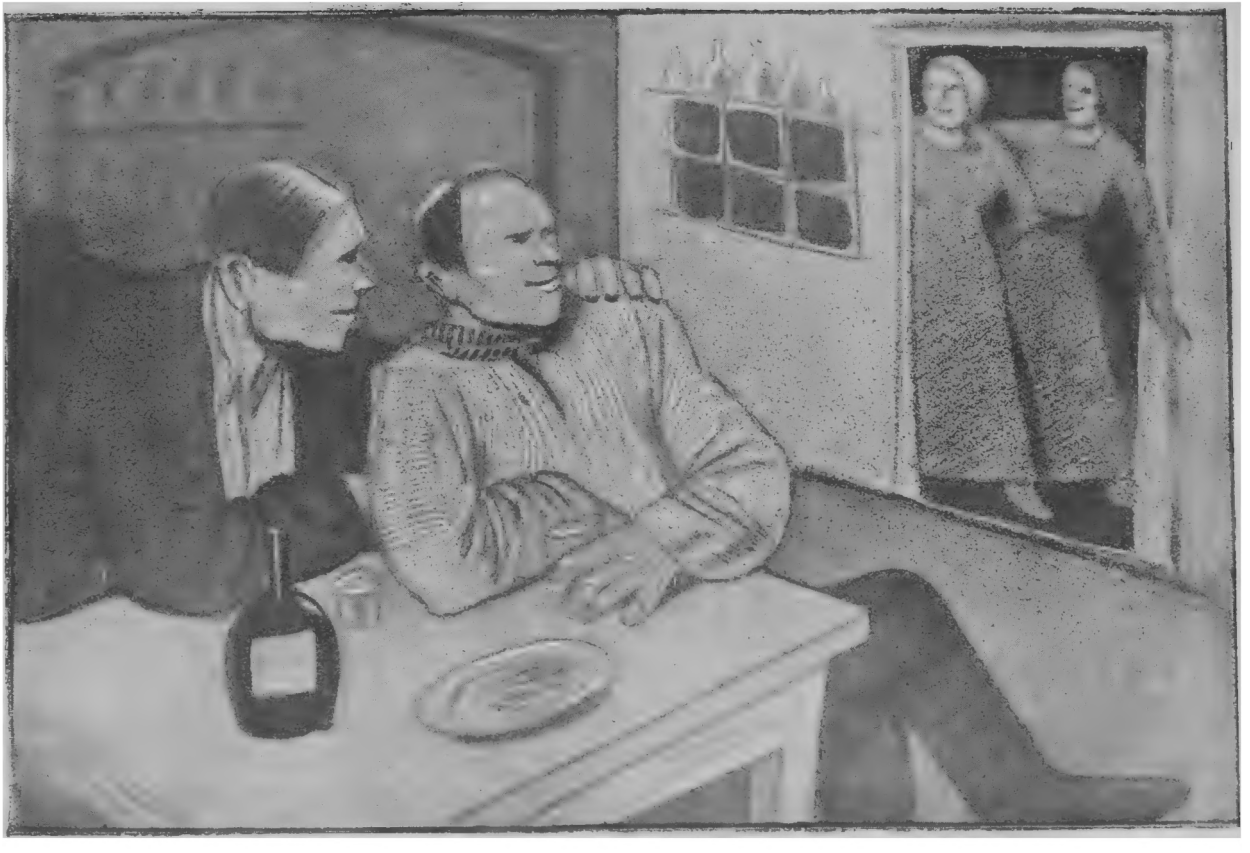
— Разве ты меня не любишь?

— Нет,—грубо ответил он и потом, помолчав немного, спросил:—кто ты?

Она засмеялась:—Ты все еще пьян? Ведь, я Анна Шлоссер. Ты меня знаешь.

— Нет,—тупо возразил он.—Я тебя не знаю, ты мне совсем чужая.—Дрожа, точно в ознобе, он встал и, не говоря ни слова, выбежал из лесочка по направлению к дому.

Не зажигая свечи, он бросился на постель, у него болела голова и его тошнило. В мозгу теснились разные мысли, картины; то ему казалось, что он видит покойного Петра Леэр, затем из двери выглядывало лицо девушки. Ему казалось, что весь воздух пропитан спиртом и чудился сладковатый запах сырости, исходивший от платья девушки. В голове звучат слова, его собственный вопрос, обращенный к Фрицу Браунеру, затем слышится голос девушки: „Разве ты меня не любишь?" Черные волны отвращения смыкаются над ним; он видит опять шахту, ночь и темень, вдыхает в себя отвратительный запах угля, захватывающий дыхание и, сквозь пьяный сон, бормочет: „Разве для этого живет рабочий?"



— Две девушки заглянули в дверь, засмеялись и подмигнули...

ГЛАВА VIII.

Марта Туссек подняла свою маленькую, черноволосую головку от швейной машины и задумчиво взглянула в окно. В прозрачных весенних сумерках она увидела Фрица Браунера и Андрея Мерц, они вышли из кабачка и колеблющимися шагами направлялись в лес.

Девушка положила руку на колесо и наступила ногой на педаль. Колесо пришло в движение, сначала медленно, потом все быстрее, пока не превратилось в слошной блестящий диск. Светлая материя вылетала из под иголки и волнами спадала на пол.

Жужжание колеса сопровождало печальные размышления Марты Туссек. „Андрей Мерц пьет, он почти каждый день пьян... Теперь, когда умер старый Петр Леэр, никто больше не заботится о парне... Нужно бы с ним поговорить, он неглупый юноша, жалко его... Конечно, это понятно, что он пьет, это его единственное развлечение..." Девушка сильно наступила на педаль машины, и нитка оборвалась. Она нагнулась, прищурилась, вдела новую нитку. И опять бегущие мысли слились с жужжанием колеса. Рабочему люду, этим детям мрака и нищеты, не дано других радостей на земле. Алкоголь заменяет им то, что другим, более счастливым, дают красоты мира, радости искусства и науки. Первые же стаканы водки снимают свинцовую тяжесть усталости, вливают новую силу, освежают, а дальнейшие стаканы возбуждают кровь и наполняют сердце и мозг бессмысленной, но яркой радостью. Правда не со всеми так бывает: Марта Туссек вспомнила о своем отце, которому довольно было трех стаканчиков водки, чтобы он плача забрался в угол и там перечислял все горести и тяготы своей жизни.

Ребенком она часто слушала эти причитания:—Как рано я потерял мою милую жену! Она умерла в родах, по моей вине, при рождении шестого ребенка. Врач мне сказал, что она не должна больше рожать, что это грозит ей смертью. И вот однажды я поссорился с надсмотрщиком, пошел со злости в кабак, пил, пил... она плакала, когда я вернулся, умоляла меня оставить ее, но я превратился в дикого зверя, сорвал с нее платье... она умерла в родах... Потом я в пьяном виде раздробил себе ногу киркой и остался хромым, наполовину утратил работоспособность... Моего единственного сына отняли от меня, взяли на военную службу, он был славный парень, зарабатывал уже много денег. Потом настала война с французами. Какое мне дело до французов? Мой сын был убит... Как „герой", написал мне капитан. Разве мертвый „герой" мог мне помочь прокормить пятерых девченок?...

Кузнец часами изливал свои жалобы, пока, наконец, голова его не падала на стол, и он не засыпал.

Черная скорбь, звучавшая в жалобах пьяного кузнеца, омрачала жизнь маленькой Марты. Она была младшей из пятерых детей, единственной, оставшейся при отце. 24 года жила она с отцом в маленьком городке Восточной Пруссии близ русской границы. Ее сестры служили работницами в соседних имениях и редко навещали отца. Марта была недостаточно сильна для этой работы. Мечтой всей ее юности было сделаться учительницей, быть окруженной детьми, обогащать их знаниями. Но для этого не хватало средств. Отец пил все больше, а зарабатывал все меньше; ей пришлось прирабатывать. Она научилась шить. Ее свежая юность прошла в бесконечной стежке, затерялась в белых и цветных материях, заглохла в жужжании швейной машины. С утра до вечера ноги наступали на педаль, глаза следили за швом, руки разглаживали ткань. Маленькая комнатка с голыми стенами и швейная машина заключали в себе весь мир для молодой девушки.

Когда ей минуло 18 лет, в ее жизнь вошло нечто новое. В маленьком городе появился иностранец, молодой русский, бравший работу у ее отца. Он поселился в том же доме, и вскоре между обоими молодыми людьми завязалась искренняя дружба. Борис Мершовский разрушил стены, отделяющие девушку от жизни, указал ей на другой мир, мир живых,

деятельных и страдающих людей, несмотря на пытки и притеснения, стремящихся к счастливому будущему. До сих пор она не знала ничего, кроме своей жизни в четырех стенах под монотонное жужжание швейной машины, и кроме кузницы отца с ее оглушительным шумом. Жизнь значила для нее лишь работу, изо дня в день ровное движение машинки, да вечную заботу, вызываемую непробудным пьянством отца. Жизнь соседей протекала так же однообразно и так же была полна работы и горя. И вдруг пришел человек, развернувший перед ее удивленными глазами целый ряд новых картин, принесший пищу для ее пытливого ума, принес идеалы ее скорбной душе.

Борис Мершовский принадлежал к группе народовольцев, совершивших в марте 1881 года покушение на императора Александра II. Он рассказывал девушке о борьбе „Народной Воли", члены которой были одушевлены лишь одним желанием освободить народ от рабства и нищеты. Марта с восторгом прислушивалась к его словам. Значит, были люди, думавшие о горькой участи бедняков, значит, была надежда для рабов труда? То, о чем она смутно догадывалась, принимало в словах Бориса Мершовского ясные очертания, и ей казалось, что она идет по темному мрачному ущелью, в дальнем конце которого сияет свет.

„Народная воля"—воля народа к вечной справедливости и свободе. Во имя этой воли многие пошли на смерть, многие томились в тюрьмах, на рудниках в Сибири. Но на их место вставали другие, и цепь, исходящая из России и обнимающая весь мир, никогда не разрывалась, даже когда отдельные звенья выбывали...

Бодрый дух Марты проснулся под влиянием Бориса Мершовского. Она училась, читала и совершенно переродилась.

Через год молодой русский вернулся к себе на родину, и она больше ничего не слышала о нем, но его учение жило в ее душе.

Когда Марте исполнилось 24 тода, она переехала с отцом из маленького города Восточной Пруссии в угольный район.

Здесь, в этом черном мире, девушка увидела нищету и нужду в еще более мрачных красках. Рабочие поражали

своей апатией и покорностью, безнадежностью своего существования. Они превратились от работы в тупых бессловесных животных, даже не имевших желания освободиться из когтей нужды, не имевших даже воли и силы противиться своей судьбе.

Марта пыталась сблизиться с женщинами, вызвать в них справедливое возмущение, желание изменить условия жизни. Но она везде встречала удивленные бессмысленные взгляды, жалобы и стонущий вопрос: „что же мы можем сделать?" Этим людям, задавленным личными переживаниями, совершенно непонятно было чувство солидарности, чувство спайки. Какое им дело до других? Разве им недостаточно их собственной нужды? Разумеется, их больше, чем богатых, но ведь они слабее и всецело находятся во власти хозяев и их прислужников. Кто захочет подвергнуть себя опасности быть уволенным? Ведь, детей-то надо кормить!

У старого Петра Леэра Марта Туссек часто встречала Андрея Мерц, и ей казалось, что в этом юноше она найдет человека, способного воспринять ее идеи. И Фриц Браунер, озлобленные насмешки которого выдавали горечь и возмущение его души, тоже должен был воспринять учение нового евангелия. Но оба парня проводили свободное время в кабаке, в винных парах искали недостающего им счастья.

Горячая жалость к людям, живущим в этом черном мире, и страстное желание помочь им, наполняли сердце девушки.

Наступил вечер. Марта Туссек встала, сложила работу и подошла к окну. Мимо проходила толпа молодых рабочих с шумом и гамом; полупьяные парни направлялись в соседний лес.

ГЛАВА IX.

Был яркий весенний день, когда Марта Туссек встретила Андрея Мерц. Она остановилась.

— Куда вы идете, Андрей?

— В кабак.

— Пойдемте со мною, я сегодня устроила себе праздник, у меня очень сильно колет в груди. Мы прогуляемся с вами.

Он бросил на нее испытующий взгляд и насмешливо улыбнулся. Значит и эта тоже? Какая дрянь эти женщины, какие противные, грязные животные, бегающие за мужчинами, как собаки! Он испытывал горькое разочарование—эта девушка казалась непохожей на других.

Он пошел рядом с ней, тяжело передвигая ноги и согнув свои широкие плечи. Он беспрестанно щурил глаза и моргал ими и ненавидел ослепляющий его солнечный свет. Они долго шли молча, потом уселись в тени большого бука.

Андрей выжидательно смотрел на девушку из под полуопущенных ресниц. Вот сейчас она бросится ему на шею, жадно поцелует его горячими влажными губами. И резким ударом прозвучал вопрос, сделанный тихим, нежным голосом: —Почему вы пьете, Андрей?

Он раскрыл глаза; что ей нужно было от него? Какое ей дело? Уж не собиралась ли она читать ему наставление.

— А почему бы мне не пить?—упрямо возразил он.

Она ничего не ответила, сорвала былинку, разрывала ее на мелкие части. Ее молчание взбесило его, дикий гнев охватил юношу, он не знал, против кого этот гнев,—против-ли девушки, или против самого себя, или против всего света. Заикаясь, он начал говорить:

— Почему я не должен пить? Чем же я должен заниматься по выходе из проклятой черной дыры? Голова болит, руки онемели, поясницу ломит. Мысли—черны, как уголь. Я готов убить человека от злобы и ненависти. Я готов сам повеситься на ближайшем дереве, стоит мне только подумать, что завтра, послезавтра, и всю жизнь мне опять придется спускаться в шахты, и всегда я буду внизу работать, ударять киркой, добывать уголь, все будет черно вокруг меня, смрадный запах угля будет проникать мне в горло, и все члены моего тела будут болеть. Когда же я пью, все это забывается.

Он замолчал и сам удивился: откуда взялись слова у него, ворчливого молчальника?

— Ведь, есть еще многое другое кроме пьянства,- тихо промолвила Марта Туссек.

— Да, только не для нас!—Ему почудилось, что многолетняя горечь свинцовой тяжестью лежала на нем и давила ему грудь, и ему хотелось освободиться от нее.—Не для нас! Павел Леэр говорил мне о том, чем пользуются другие. Хорошая жизнь, больше отдыха, чем работы, красивые дома, сытный стол и путешествия по чужим странам, где всегда сияет солнце. И книги...

И вся его печаль вылилась в крике:—Да, книги! Никто не знает, как я люблю читать! Существуют слова, звучащие так прекрасно, что хочется плакать, и в книгах столько нового, чего я не знаю, но что так охотно изучил бы. Когда я вечером возвращаюсь домой, я присаживаюсь к лампе и пытаюсь читать, но буквы мелькают перед глазами, а голова отказывается понимать. Тогда я бросаю книгу в угол и иду в кабак, а затем...

Что-то сдавило ему горло; страдание помешало ему закончить свою исповедь; печальный и мрачный, он упорно смотрел на девушку, и на глазах у него были слезы.

— А знаете ли вы Андрей, почему этот другой прекрасный мир принадлежит другим?

— Потому, что они богаты, а мы бедны.

— Если мы захотим,—медленно проговорила она, то прекрасный мир когда-нибудь будет принадлежать трудящемуся народу.

Он насмешливо расхохотался: —Да, пастор тоже говорит об этом!

— Я говорю не о небе, а о здешнем земном мире, со всем прекрасным, что в нем существует. Но, конечно, этого не будет, если мы будем ползать, как побитые собаки, если мы вечно будем лизать бьющую нас руку и думать, что мы не имеем права на человеческое существование.

Он перебил ее:—Моя мать всегда говорила: „Так было всегда, так будет и впредь". Она была права, все остается по старому,—мы работаем, а господа веселятся.

— Вы знаете что-нибудь о социализме, Андрей?

Он задумался на минутку.—Павел Леэр социалист, он говорил то же, что и вы. Но это ни к чему не ведет,—ведь, свет не изменился, а Павла за его болтовню посадили в тюрьму,—он недавно написал мне об этом.

— Если бы вы знали, что можете помочь созданию нового мира, в котором не будет ни голода, ни нужды, ни несправедливости,—вы помогли бы этому, Андрей?

Он рассмеялся детским радостным смехом.—Разве я осел? Разумеется, помог бы обоими руками!

Но на лице его опять появилось выражение покорности, и он тупо пробормотал:—Все это, одна болтовня. Мы родились в нищете, в ней и умрем.

Он внимательно взглянул на девушку, словно надеясь, что услышит от нее возражение.

И она заговорила... Она говорила долго, убедительно, и лицо Андрея понемногу прояснялось, точно с него постепенно спадал какой-то гнет; он слушал Марту с широко раскрытыми глазами, как ребенок слушает сказку. Это было другое опьянение, непохожее на угар от водки, это были видения, которых никогда не вызывал алкоголь.

Заговорившись, они не заметили, как сгустились тени, и землю окутала тьма. Марта Туссек испуганно вскочила.

— Я должна спешить домой, нужно накормить отца.

— Мне хотелось бы еще послушать вас, Марта, хотелось бы привести к вам Фрица, других товарищей...

— Хорошо, по вечерам я свободнее, можете приходить, когда хотите.

Пока они спешили домой, Андрей вспомнил, какие мысли пришли ему в голову, когда Марта Туссек позвала его с собой в лес. Кровь бросилась ему в голову, ему хотелось просить у нее прощения, но, ведь, не мог же он сказать ей,

какие грязные мысли промелькнули у него в голове. Дойдя до хижины кузнеца, он остановился около Марты, смущенно теребя в руках снятую фуражку.

Спокойной ночи, Андрей.

— Спокойной ночи, Марта,—он схватил ее за руку и не выпускал ее руки, словно желая что-то сказать ей.

— Что вы, Андрей?

— Марта вы... вы не похожи на других девушек... С вами нельзя... Вы—точно товарищ.

Она тихонько засмеялась:—Я всегда останусь такой.

Она пожала его руку и скрылась в дверях.

Лицо Андрея понемногу прояснялось...

ГЛАВА X.

Медленно, постепенно, почти незаметно в мрачный мир проникал крошечный луч света. Слабый, мерцающий, готовый погаснуть при малейшем дуновении ветра, он боролся за свою жизнь. Сначала несколько робких рук оберегали его от опасности, затем этих рук становилось все больше и больше, огонек разгорался и наконец превратился в бурное, не знающее препятствий пламя.

Первыми пришли молодые—те, стремлений которых не задавили десятки лет нужды и рабства. По два, по три человека заходили они в комнатку Марты Туссек и с глубочайшим вниманием слушали провозглашаемое ею новое учение. Внизу, в глубоких шахтах раздавались слова, еще никогда не звучавшие в этом черном мире: „справедливость", „свобода", и еще самое яркое, самое ослепительное выражение: „наша власть".

Эти несчастные, эти обездоленные, бесправные и вечно-эксплоатируемые люди и не подозревали, что в их руках находится власть, способная перевернуть весь свет и создать новый мир. До сих пор они предполагали, что эта власть является достоянием богатых.

— Боже, как мы были глупы!—восклицал Фриц Браунер.

— Нас миллионы, а их горсточка, и мы позволили запречь себя в ярмо, как волов. Работа наших рук создает богатство других, а сами мы зарабатываем только на кусок черствого хлеба. Мы хотим работать на себя!

Седовласые рабочие укоризненно покачивали головой.

— Слышали мы об этом. В 48 году слышали. И все же ничто не изменилось.

— Может быть, причиной этому наша трусость,—говорили другие.

Никто не пытался удерживать воодушевления молодежи, и все были согласны, что нищенский заработок не дает возможности сносно существовать.

Новое настроение, оживившее угольный район, не могло долго оставаться в тайне. Неясный страх перед чуждой им новой властью охватил шахтовладельцев; они стали озираться, выискивая союзников, в первую очередь нашли церковь. С тех пор, как в шахтах стали работать чехи, в деревне поселился к толический патер, его задача была очень легка, потому что члены его общины были благочестивыми овечками, не помышлявшими об уничтожении существующих условий. Зато протестанты представляли собою самый „опасный элемент". Протестанский пастор часто посещал деревню, переходил из одной хижины в другую и пугал женщин гневом хозяина на земле и божьим гневом—на небе. Служитель Христа бесстыдно подтасовывал слова евангелия и превращал своего бога в полицейскую власть, охраняющую богатых.

По почину хозяев и духовенства был учрежден особый „христианский союз", и поступившие в него рабочие пользовались особым благоволением хозяев. За кружкой пива провозглашались следующие новые заповеди: „Я твой господин, и ты должен мне покоряться. Все, что заработают твои руки, принадлежит мне. Мое имущество должно быть для тебя священно. Ты не должен желать добра ближнего твоего. Ты не должен размышлять". Членов союза угощали вкусным пивом, помещение союза хорошо отапливалось; многие рабочие приписались к этому союзу.

Весною в угольный район прибыл Павел Леэр с товарищем, чтобы помочь рабочим организоваться.

На тайных собраниях Андрей Мерц испытывал то же чувство, как в детстве, когда он ожидал взрыва: сердце билось, душу охватывал трепетный ужас, все существо настораживалось, и дыхание замирало в ожидании чего-то грандиозного.

Павел Леэр говорил отрывисто, сухо и за холодными трезвыми словами скрывал горячее, бичующее негодование. Зато его товарищ, молодой писатель Курт Брюлль обладал способностью захватывать слушателей.

— Этот Курт будет когда-нибудь нашим общим вождем,— радостно мечтал Андрей Мерц.

Павел Леэр покачал головой:—Он честен, полон убеждения, но он не годится нам в вожди. Он принадлежит к другому классу.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Революция должна родиться от пролетариата, и только люди, происходящие из пролетарской среды, могут совершить революцию. Другие нас не понимают. Только тот знает землю, кто обрабатывает ее, кто близок к ней, только тот знает народ, кто связан с ним глубочайшими корнями. Мы не полуживотные, тупые, грубые и бездушные, какими считает нас буржуазия и затуманенная и разъеденная своею, так называемой, одухотворенностью интеллигенция, но мы и не святые, очищенные трудом и нуждою от всех грехов, какими считают нас Курт Брюлль и ему подобные.

— Мы? Нас?—спросил Андрей Мерц, внимательно вглядываясь в своего друга.

Павел рассмеялся.—Разве ты думаешь, что я уже не принадлежу к вам, потому что ношу стоячий воротник и учился в высшем учебном заведении? Мой отец был углекопом; моя мать умерла от мучительной болезни, от рака, потому что у нее не было средств сделать себе операцию. Я не хочу сказать, что мы должны отталкивать интеллигентов, когда они подходят к нам с честными намерениями. В новом мире, где красота и знание будут принадлежать всем, им тоже найдется место.—Разумеется, не для тех, которые своим знанием или талантом служили для развлечения буржуев и способствовали их пищеварению, не заботились никогда о правде и справедливости; те будут тогда разбивать камни,—это по крайней мере честный труд.

С приходом обоих молодых людей точно открылись громадные ворота, через которые можно было взглянуть на новый мир. Отчаявшиеся и малодушные с удивлением узнали, что светлый луч проник не только в окружающий их мрак, но что от этого луча зажглись огни во всех концах света, и пламя их побеждает тьму безнадежности. Сознание, что они не одиноки в борьбе, придавало силу этой маленькой группе беззащитных людей, и к ним присоединялись все новые и новые сторонники. Каждый отдель-

ный человек черпал бодрость в сознании, что за ним стоят тысячи, связанные неразрывными узами. Это было откровением для людей, живших под землею и на земле в ночном мраке.

Во всех умах запечатлелись слова: „Так не всегда будет"; эти слова повторяли изнуренные работой мужчины, опечаленные, измученные женщины шептали их друг другу на ухо и сияющими глазами смотрели на своих ребят. „Не всегда большая часть человечества будет находиться в условиях нужды и голода, в которых она родилась. Не всегда большинство будет надрываться над работой, а меньшинство пользоваться плодами этой работы, не всегда больные будут умирать только потому, что у них нет денег для лечения; не всегда наградою старого работника будет только богадельня". Сказочные сны озаряли летние дни. Многие думали, что обетованная земля уже близка и чтобы достигнуть ее, нужно выдержать лишь одно сражение.

Даже, когда оба агитатора однажды были забраны полицией, настроение рабочих не упало. Они уже были организованы и уже сознавали свою силу. Их влекло к борьбе Господствовавший до этого в угольном районе мертвый покой бесследно изчез. Жизнь бродила, кипела. Из тьмы зимней ночи вырвалось пламя, все увлекая за собой, охватило весь горизонт: разгорелась забастовка.

ГЛАВА XI.

То была забастовка в шахтах. Бастующие сами удивлялись себе, ибо они только сейчас поняли, что можно бросить работу. До сих пор они были машинами, повинующимися мановению чьей-то руки, по утрам спускались в шахты, работали целый день и поздно вечером поднимались обратно на поверхность земли. У них не было своей воли, ими руководила чужая воля, сознание того, что они должны исполнить эту волю. А теперь они увидели, что эти обязанности можно нарушить, и их воля восторжествовала над чужою волей. Им отказали в повышении заработной платы, и они решили забастовать. Это было так просто, и вместе с тем внушительно. Они захотели—и шахты опустели; они захотели—и ни один кусок угля не поднимался на поверхность земли; они захотели—и промышленность всего края замерла. Теперь могущественным господином была их собственная воля. Стоило этим изголодавшимся, измученным вьючным животным сложить руки—и весь окружающий их мир пошатнулся. Они победят, не прибегая к оружию.

Андрей Мерц ходил, как во сне. Его тянуло к подъемной корзине, он подходил к ней и долго пристально глядел на нее. Кругом не раздавалось ни одного звука, мертвая тишина лежала над шахтами. Андрей до боли сжимал кулаки, и сердце его усиленно билось, жаркие слезы умиления катились из его глаз.

А в хижинах сидели углекопы, радовались, отдыхали; усталые члены выправлялись; покрасневшие, мигающие глаза постепенно приучались смотреть на солнечный свет. Да, они постепенно приучались смотреть на свет: привыкали к свету. Эти люди, проводившие всю жизнь во мраке, ни-

когда не осмеливались взглянуть на свет, боясь ослепнуть. Теперь свет сам пришел к ним; они открыли глаза и взглянули. Их неясные предчувствия оправдались, перед ними развертывался и манил их к себе новый светлый мир.

Андрей Мерц громко смеялся от счастья; ему казалось, что с него спали цепи; все его стремления, все желания вдруг осуществились. В первый раз в жизни он чувствовал свое право на счастье и знал, что он добьется его.

Ничто не устрашало его, ведь, он своими глазами видел чудо, сотворенное волей рабочих. Перед ним раскрылся мир, в котором рабочий имел возможность жить по-человечески, имея, кроме утомительного труда, несколько часов отдыха, мир, в котором свободные люди добровольно отдают труду свою силу.

От этих мыслей пробудил его чей-то голос. Перед ним стоял Штейнберг, маленький горбатый писец из канцелярии.

— Андрей, кто в течение этой недели встанет на работу, тот получит двойную заработную плату. Скажи это другим.

Андрей, недоумевая, взглянул на него.

— На работу? Как это?

Горбун подошел к нему ближе.

— Члены христианского союза встанут на работу.

— Чего же тебе нужно от нас, проклятый?

Горбун рассмеялся.—Мне платят по 10-ти марок за каждого, кого я уговорю встать на работу. Не будь дураком, Андрей, принимайся-ка завтра за работу. Пусть другие разыгрывают дураков. А тебе дадут двойную плату во все время забастовки и, кроме того, ты можешь быть уверен что тебя не уволят. Подумай об этом.

— Оставь меня в покое, горбатый дьявол!

— Послушай, Андрей, ведь хозяева все равно победят. Чего вы можете достигнуть, бедные, беспомощные люди? Ведь, в случае надобности, хозяева призовут войска на помощь; уж об этом заходила речь. Директор, говорят, сказал: „Я хлыстом выгоню этих собак на работу"...Чего же ты хочешь? Богатые всегда были господами и всегда останутся ими.

— Убирайся к чорту!

— Ты все же подумай об этом, Андрей. А когда надумаешь, приходи ко мне, дай мне заработать,—у меня ведь семеро детей, и жена ожидает восьмого.

— Какое мне дело до твоих детей?

— Ты ведь друг бедных детей. Я еще недавно слышал твою речь, ты, ведь, кричал так, что стены дрожали: „мы будем справедливы ко всем бедным и униженным!“ А я разве не беден?

— Ты хочешь продать своих же товарищей! Неужели тебе не стыдно?

— Стыдно?—Горбун задумался.

— Нет, не понимаю, чего я должен стыдиться? У меня семеро детей и восьмой в дороге... Это требует больших расходов. Откуда я возьму денег? У меня живот подвело от голоду, не могу же я урывать от детей их кусок хлеба, приходится им всегда говорить: „кушайте, милые, я не голоден“. Приходится, где только возможно, добывать деньги.

—Если ты нам поможешь, мы построим новый мир, в котором твои семеро ребятишек не будут голодать.

Горбун с состраданием взглянул на Андрея.—Ты дурак, Андрей, ты веришь сказкам. Мой прадед голодал, дед и отец тоже голодали, я голодаю, и мои потомки будут голодать. Так вот, если ты надумаешь, приходи ко мне, подумай только: семеро детей и восьмой на пути.

Он закашлялся, повернулся и удалился быстрыми шагами.

Андрею Мерц показалось, что черная завеса опустилась на сияющий, голубой зимний день; безжалостная ночь, от которой он мечтал освободиться, опять протягивала к нему свою грязную руку.

Горбун сказал, что все члены христианского союза встанут на работу. Невыразимый ужас и полное непонимание охватили Андрея Мерц.—Разве углекопы, принадлежащие к христианскому союзу, не такие же рабочие, как забастовщики? Разве они не испытывали той же нужды, разве не страдали при виде голодающих жен и детей? Разве тесные узы общего страдания не связывали их с товарищами? Что же заставляло их вредить собственным братьям и бороться против них? Что побудило их итти об руку с хозяевами, их общими врагами? Двойная заработная плата?.. Андрей Мерц горько улыбнулся. Конечно, их толкнули на это жадность:

трусость и страх быть уволенными. Но этого было недостаточно; он знал членов христианского союза, всегда готовых помочь товарищам, отказать себе в самом необходимом, если нужно было помочь больному или нуждающемуся ближнему. И трусость тут не при чем; Андрей вспомнил Венцеля Прихода долговязого чеха, председателя христианского союза. Еще недавно, при небольшом несчастии в шахте, он первый вошел в обрушившуюся штольню и, забывая об опасности, угрожавшей его собственной жизни, кинулся спасать других.

Медленно, задумчиво пошел Андрей обратно в деревню, бросив последний взгляд на опустевший спуск в штольню. Под его шагами хрустел снег, и этот слабый шум сопровождал его мысли. Почему эти люди, эти наши братья, стали на сторону хозяев? Почему они предают нас? Ведь, они не злы и не трусливы. Если среди богатых мы находим только врагов,—это понятно, но среди собственных братьев... Ведь, наша нужда, наше рабство должны быть им понятны, они должны вместе с нами мечтать о создании нового мира. Слова горбуна раздавались у него в ушах: „Мои потомки тоже будут голодать". И тут догадка молнией пронизала его мозг, он нашел ответ: у других просто не хватало способности верить в это прекрасное будущее. Они уподоблялись людям, по колено завязшим в болоте и ничего не предпринимающим для спасения, за отсутствием веры в возможность спастись. А на берегу стояли попы, вооруженные церковными и небесными проклятиями, стояли учителя, судьи с книгою закона в руке и говорили: „Не шевелитесь, чтобы не завязнуть еще глубже! До скончания века вы не сможете выбраться из этого болота." Попы возвещали: „Это—божья воля, он создал богатых и бедных, не спорьте с ним, чтобы не утратить вечного блаженства". Учителя твердили: „Будьте послушны, склонитесь в смирении перед законами мироздания. Труд и сознание исполненного долга должны делать вас счастливыми." Судьи заявляли: „Исполняйте закон, созданный для вас. Закон не знает снисхождения: голодный, виновный в воровстве человек, доведенный до отчаяния и схватившийся за оружие—виновны пред лицом закона. Вы имеете право только работать и терпеть, иначе вам грозят тюрьмы и виселицы."

И люди неподвижно стояли в болоте, полные ужаса и лишенные мужества. Они боялись не только дела, но и слова

и даже мысли. И все же, несмотря на страх и на отупение, в них должна была жить надежда на спасение, слишком уж им хотелось освободиться от своих оков и приблизиться к свету.

Андрей Мерц вошел в хижину, где он занимал каморку, взял в руки книгу и углубился в чтение.

* * *

Серая, зимняя ночь тяжело спустилась на землю; в некоторых хижинах мерцали огоньки; кой-где мелькали черные тени. Нервы Андрея были напряжены. Он бормотал сквозь зубы проклятия. Над спуском в шахту ярко горел громадный газовый фонарь, потушенный при начале забастовки.

Значит, это правда: члены христианского союза спускаются в шахты! Они шли тесными рядами, бросая вокруг себя подозрительные взгляды и торопливо подходили к спуску в шахты. Бастующие шли следом за ними, осыпая их бранью и проклятиями. Служащие показались у входа в шахту, местная полиция старалась оттеснить забастовщиков. В воздухе свистнул камень и попал в руку одного из штрейкбрехеров. Тот зарычал от боли. Полицейский выстрелил в воздух...

Раздавались женские голоса, неясные фигуры пригибались к земле и дрожащими от гнева руками старались разрыть снег, чтобы достать булыжник. Один из членов христианского союза насмешливо крикнул: „Вы скоро последуете нашему примеру, если не хотите издохнуть с голоду! Ленивая сволочь! Дармоеды!“

Фриц Браунер, стоящий рядом с Андреем, не помня себя от гнева, бросился на говорившего. Они схватились друг с другом, и полицейский бросился разнимать их. Фриц оставил штрейкбрехера и замахнулся на полицейского. „Не смей меня трогать, собака! Твой отец околел в яме, а ты, его сын, толкаешь туда собственных товарищей!“

Его кулак тяжело упал на голову полицейского, и тот свалился на землю; Фрица окружили и увели.

Последний из членов христианского союза вошел в подъемную корзину, окруженную вооруженными полицейскими.

Прозвучал сигнал. Подъемная корзина опустилась в шахту.

Андрею Мерц казалось, что кто-то ударил его по лицу. Его охватило чувство чисто физического недомогания. Первое поражение было нанесено своими же товарищами.

* * *

Безнадежно тянулись тяжелые, свинцовые дни. Голод и холод мучили бастующих, и некоторые из них уже поговаривали о сдаче. Каждый день члены христианского союза спускались в шахты, а горбатый писец шнырял кругом, как привидение, хриплым голосом нашептывал: „Двойная заработная плата всем, кто приступит к работе во время забастовки". Женские уши жадно прислушивались к его словам; женские голоса, по уходе горбуна, злобно кричали или стонали, обращаясь к мужьям: „Ты скверный человек, из-за тебя твои дети голодают. Они плакали всю ночь напролет, чего ты добиваешься? Ведь, все равно ничто не изменится. Ступай на работу, пока мы все не передохли от голода и холода!"

На одном из собраний выступил один из бастующих рабочих и дрожащим голосом произнес:

— Товарищи, я не в силах дольше выдержать, мои дети голодают, жена больна, должна лечь в больницу. Директор сказал мне сегодня, что если я встану завтра на работу, то моя жена будет бесплатно помещена в больницу, и за нею будет хороший уход. Она — славная женщина, и мы любим друг друга. Как вы хотите, но завтра я спущусь в шахту!

Послышались грозные голоса:—Проклятый штрейкбрехер! Предатель! Подлая собака!

Бледный, с трясущимися руками, стоял несчастный перед ними и, заикаясь, бормотал:—Товарищи, я не предатель... Но я не могу больше смотреть, как она страдает, не могу слышать ее стонов... Я... и голос его прервался.

Руководитель забастовки подошел к нему, отвел его в угол и заговорил с ним спокойно и мягко: он не должен этого делать, потому что некоторые товарищи уже колеблются, и он может подать им дурной пример. Еще не пропала надежда, что забастовка приведет к желаемым результатам но никто не должен быть предателем и перебежчиком.

Адам Крюгер не сделался штрейкбрехером...

Несчастный опустил голову:—Я не хочу вам вредить, ни за что на свете. И я верю в успех нашего дела, но... я человек... она всю ночь кричала от боли... пустите меня.

— Мы не можем этого сделать. Если ты спустишься в шахту, то мы будем считать тебя предателем и штрейкбрехером.

Адам Крюгер ушел из собрания, поспешил домой и в немом отчаянии сел у изголовья кровати, на которой лежала слабо стонущая, бледная женщина.

Вечером в комнату Крюгера проскользнул горбун:—Завтра ты спустишься, Адам?—Он вынул из кармана пригоршню денег и бросил их на стол.—Вот задаток.

Адам Крюгер молча, безумными глазами смотрел на деньги.

Женщина заплакала.

— Завтра же поступи в христианский союз, а то твои милые товарищи забьют тебя до смерти, если у тебя не будет защиты.

Адам Крюгер вспыхнул:—Итти к этим собакам?

Горбун захохотал:—Не важничай, мой друг, ведь, ты делаешь то же, что и они. Ты ведь тоже штрейкбрехер. Но, если ты не хочешь... и его костлявая рука потянулась за деньгами.

Железные пальцы Крюгера схватили эту руку.

— Пусть лежат! Я завтра спущусь в шахту первым.

— Значит, ты образумился? Вот и отлично.

И писец, ухмыляясь, удалился.

Кто может сказать, что творилось в продолжение этой бесконечной ночи в душе Адама Крюгера, какие муки и сомнения терзали его? Когда ночной сторож собирался зажечь большой газовый фонарь перед входом в шахту, он увидел на старом орешнике висящее тело. Оно уже почти окоченело, и посиневшее, искаженное лицо было угрожающе обращено ко входу в шахты.

Адам Крюгер не сделался штрейкбрехером.

* *

Жена Венцеля Прихода, жирная Анулька, обладала добрым сердцем. Хотя она считала забастовщиков несча-

стными людьми, введенными дьяволом в заблуждение, все же она приходила ежедневно к жене Адама Крюгера, ухаживала за больной и мыла ребятишек. Она как раз находилась в конурке Крюгера, когда туда был перенесен труп Адама, и когда через два часа после этого пришел горбун, чтобы потребовать обратно данный им накануне задаток, его приняла Анулька.

Чешка довольно долго не могла понять, в чем тут дело. Но когда она, наконец, усвоила себе цель прихода горбуна, она, как фурия, набросилась на него.

— Дрянь! Подлая собака! Здесь лежит несчастный покойник, жена и дети плачут, а ты приходишь за деньгами! Ничего я тебе не дам, нам самим деньги нужны. Вон, подлая тварь!

Горбун настаивал на своем требовании, кричал, ругался, угрожал полицией. Краснощекое лицо толстой Анульки принимало угрожающий вид. Горбун прижался в угол, а толстуха, подбоченившись, встала перед ним и принялась ругаться на своем родном языке. Хотя горбатый писарь ровно ничего не понимал, но он инстинктивно чувствовал, что необходимо спастись бегством. Он сделал еще одну слабую попытку:

— Если ты не отдашь денег, то хозяин посадит тебя в тюрьму.

Ярость Анульки дошла до таких пределов, что ни одно чешское или немецкое слово уже не могло вырваться из ее сдавленного горла. Но гнев отнюдь не сделал ее беспомощной: ее мясистая красная рука тяжело опустилась на щеку горбуна, затем она схватила его за шиворот и потащила к дверям.

— Дрянь, грязная свинья! Если ты еще сунешься сюда, то Анулька так тебя вздует, что целую неделю не сможешь сесть!

Она подняла громадную ногу, обутую в деревянный башмак, и маленький горбатый писарь стремглав вылетел за дверь.

Еще дважды подкрадывался он к хижине Крюгера, но у окошка оба раза показывалась грозная фигура Анульки с поднятым увесистым кулаком, и он быстро удалялся.

Вечером Анулька рассказала обо всем происшедшем своему мужу. Добродушный великан был так же возмущен,

как и его жена, и они вместе ругали писаря, хозяев и все управление. И все же Прихода несказанно удивился, когда Анулька решительно заявила ему:—Ты завтра не пойдешь на работу, Венцель.

— Как? Что! Ты с ума сошла?

— Ты не будешь больше работать для этих собак.

— Но патер сказал...

— Патер тоже собака.

— Анулька!—с ужасом воскликнул муж.

Анулька широко перекрестилась. „Прости мне, боже, прости, божья матерь, помолись за меня, но я все же скажу: патер тоже собака! Я сегодня побежала к нему, просила его помочь бедной женщине, а он сказал, что она должна вернуть деньги. Чем же она и дети будут жить? Неужели нам всем околевать, потому что богатым нужно много денег? Ты должен забастовать Венцель, должен присоединиться к товарищам."

Венцель почесал за ухом; он знал по опыту, что Анулька всегда добивается своего; она была много умнее его, и до сих пор ее советы всегда приносили ему пользу. Но на этот раз требование жены огорчило его: нельзя было пренебрегать двойной заработной платой.

— Ведь забастовщики—социалисты, поучительно заявил он,—а патер сказал, что все социалисты попадут в ад.

Но и эта угроза не помогла. В ленивом мозгу Анульки редко зарождались мысли, но раз зародившись, прочно внедрялись.

— В ад попадут богатые,—заговорила Анулька,—и злые люди. Забастовщики не дурные люди, может быть, они бедные глупцы, этого я не знаю. Но я знаю, что люди, поступающие, как этот горбун, как надсмотрщик, как шахтовладелец—скоты, а не люди. Ты глуп, Венцель, и ничего не понимаешь, а я посещала школу в Хорни-Лота, и я тебе говорю, что завтра ты не будешь работать, иначе тебе придется иметь дело со мной!

Тщетно Венцель пытался переубедить свою жену,—она твердо стояла на своем. Глубоко вздыхая, он согласился на ее требования и даже пообещал просидеть следующий день у вдовы Адама Крюгера, чтобы помешать горбуну отобрать

у нее деньги, так как у Анульки была стирка, и потому она должна была оставаться дома.

Отходя ко сну, Анулька, как истая католичка, всегда перебирала четки. Посредине молитвы она остановилась и толкнула в бок уже засыпавшего Венцеля.

— Венцель!

— Чего тебе? заворчал он спросонья,—оставь меня в покое, Анулька.

— Адам Крюгер умер за свою веру, как святой мученик. Я думаю, что вера-то у него была хорошая.

На следующее утро Венцель Прихода отлично выспался; Анулька отправилась к шахте и торжественно об'явила, что ее муж присоединился к бастующим.

Она отыскала патера и сообщила ему, что Прихода выходит из христианского союза и делается социалистом. На возмущенные упреки попа, она только пожимала плечами, а затем, проворчав про себя: „дрянь!“ удалилась, не простившись с патером.

ГЛАВА XII.

Подгоняемый толстой Анулькой, Венцель Прихода быстро освоился со своею новой ролью. В продолжение одной только недели ему удалось перетянуть на свою сторону двенадцать чехов из пятидесяти, прибывших из Богемии.

Андрей Мерц усмотрел в этом новое чудо. Очевидно, новому веянию не могли противостоять даже самые темные, самые непросвещенные люди. Андрею Мерц наяву грезился светлый мир будущего, в котором права принадлежали трудящимся, только трудящимся. Если раньше безнадежный мрак застилал его умственный взор и делал его неспособным видеть истину, то теперь его ослеплял сверкающий свет новых видений и мешал ему трезво относиться к действительности. Когда руководители забастовки с отчаянием в сердце должны были пойти на уступки, в виду ужасающей нищеты, голода и пустоты стачечной кассы, и забастовка была прервана, Андрей ни как немог примириться с этим: „Ведь, за ними было право,—как же они могли потерпеть поражение?".

Среди углекопов был еще один, кроме Андрея Мерц, который не мог осознать чудовищности переживаемого времени. Это был молчаливый, седовласый рабочий, уже много лет тянувший лямку в шахте. У Матвея Крамера не было ни жены, ни детей, он ни с кем не дружил, не пил, не играл и в свободное время сидел в своем углу с бессильно опущенными руками и размышлял. О чем он думал? Вряд ли это были веселые мысли, ибо лицо у него было задумчивое и словно испуганное. Казалось, что в его опущенных глазах стоит гневный вопрос. Когда оба агитатора прибыли в угольный район, Крамер точно проснулся от глубокого сна. В его одеревеневшие члены словно влилась новая жизнь, его мерт-

венно бледное лицо просияло; жадными глазами пожирал он обоих пришельцев из нового мира. Хотя он все еще говорил очень мало, точно разучившись говорить за долгие годы тяжкого труда и молчания, но ему не нужно было слов, чтобы выразить, насколько его душа была полна новым учением, и как страстно он ждал избавления.

В одно сырое, мрачное утро было решено прервать забастовку. И тогда Матвей Крамер вскочил с своего места. Его глаза безумно озирали окружающее, он открыл рот и хриплым голосом пытался произнести какие-то слова. Наконец, голос послушался его, и он горячо заговорил, обращаясь к товарищам:

— Вы не сделаете этого, вы не посмеете этого сделать! Это звучало, как крик ужаса; задыхаясь и дрожа, он продолжал:—Если вы это сделаете, все пойдет прахом, тогда, ведь, победят наши хозяева, тогда нам придется признать, что для нас нет спасения, что наша борьба напрасна!".

— У нас будут и победоносные забастовки, тихо произнесла Марта Туссек.

Он бессмысленно взглянул на нее и крикнул:—Нет, нет, если вы это сделаете, все пропало!—Его голос упал до шопота:—Опять придут дни, похожие на ночи. Все черно, нигде не видно света. Мы останемся зверьми, закованными в цепи, скотом, с которым расправляются плетью. Я не хочу больше быть скотом, хочу быть человеком, человеком!.. К нам пришел свет, к нам пришла благая весть. Все это ложь, обман... для рабочих нет избавления... Ночь! Вечная ночь! Его грудь высоко вздымалась. Неясные звуки вырывались из его горла. Наконец, он гордо выпрямился и с бесконечным отчаянием крикнул:—Начинайте работу, предатели, мне с вами не по пути!—Дико озираясь, он выбежал из комнаты.

Марта Туссек обменялась несколькими словами с руководителем стачки и выбежала вслед за Матвеем Крамером. Она не нашла его дома. Неясный страх, неопределенное предчувствие погнало ее ко входу в шахту. В сторожке мирно храпел сторож. Марта безшумно прокралась мимо него и подошла к подъемной корзине. Там стоял Крамер, одной рукой ухватившись за канат и держа в другой блестящий нож. Свет маленькой лампы падал на его лицо. Так вот, что он собирался сделать? Девушка громко вскрикнула,

Девушка громко вскрикнула...

Крамер обернулся и уставился на нее бессмысленными глазами. Сторож прибежал на крик. Крамер отскочил с безумным смехом:—Все пошло прахом! Я не человек, я скот, но ведь и скотина умирает только один раз!

Сторож бросился на него.

— Вы хотите меня поймать, надеть на меня старое „ярмо"? Матвей Крамер поднял руку, и у его горла блеснуло острие ножа.

Кровь брызнула фонтаном из широкой раны. Хрипя и обливаясь кровью, Матвей упал около корзины, и в его умирающих глазах застывал гневный вопрос.

Через день после этого события углекопы вышли на работу. Андрей не участвовал в смене; он стоял у входа в шахту и смотрел на приближающихся рабочих. Ему мерещилось, что на руках и ногах его товарищей бряцали невидимые цепи, и что колоссальный кнут подгонял их. На всех лицах лежала тупая, безнадежная покорность.

Андрей сжал кулаки и едва сдерживался от душивших его потоков горючих слез. Так вот что случается с рабочим людом, когда он мечтает о свободе! Неужели новый мир, о котором он так мечтал, не что иное, как обманчивый мираж? Кто родился в нищете, в нищете и умрет. Из оков нужды нет выхода! Кто дал другим такую власть?

Несказанная горечь овладела им; он ненавидел Марту Туссек, ненавидел Павла Леэр и его друга, обманувших его и его товарищей ложными надеждами. С отчаянием и ужасом вглядывался он в окружавшую его мглу. Спасения нет, ни здесь, ни где бы то ни было. Ведь писала же мать из Америки, что они живут в большой нужде, что работа там еще тяжелее, чем здесь, и что ему следует оставаться на месте. Нужда и труд в Старом Свете, нужда и труд в Новом Свете. Где же рабочий может чувствовать себя человеком?.. Раздался резкий визг сирены и ему почудилось, что он слышит ответ: „Нигде! Нигде!".

ГЛАВА XIII.

Первое большое поражение! Сознание это навалилось свинцовой тяжестью на всех шахтеров. Еще безнадежнее казалась им их тяжелая жизнь, еще чернее казался мрак шахты. Правда, некоторые из них еще не потеряли мужества и мечтали о новой борьбе, исход которой принес бы победу. Но большинство находилось в удрученном состоянии и в своем поражении видело наглядное доказательство невозможности своего раскрепощения. С тупой покорностью они снова взвалили на себя ярмо своей прежней жизни, спускались на рассвете в шахту, работали в потемках, в свободные часы пьянствовали в шинке и засыпали мертвым сном, чтобы на утро снова приняться за нерадостную, изнурительную работу.

В течение нескольких дней Андрей ходил, словно пораженный громом. Он все еще не мог переварить случившееся. На его глазах свершилось чудо: тупой рабочий скот восстал, в сердцах этих несчастных существ и в их глазах зажегся новый огонь, они протянули друг другу руки, почувствовали спайку и в этом почерпнули силу для борьбы.

Старый мир, покоящийся на плечах рабов, пошатнулся, и достаточно было сильного толчка, чтобы низвергнуть его. На его развалинах трудящиеся должны были построить новый мир. В угольном районе произошло сверхестественное неземное превращение, мрак и ночь превратились в сияющие, ослепительные лучи. Проносились дни, наполненные надеждой и ожиданием; казалось, что вся окружающая жизнь находится в чаянии неизведанного счастья.

А затем... Проникли враги, маленькие, уродливые грызуны: голод и холод, плачущие дети, стонущие жены, пре-

дательство собственных братьев. А затем угрожающе поднялась власть других, вооруженных собственной силой и слабостью рабочих. Заколебавшийся было мир опять прочно встал на свои устои. Кругом чудился язвительный смех господ: „Вы теперь убедились в могуществе нашей власти?"

Глухая злоба заполняла сердце Андрея Мерца. Молчаливо и ворчливо сторонился он своих товарищей и целыми днями и ночами думал, думал... Если ему навстречу попадался кто-нибудь из членов христианского союза, рука его сжималась в кулак, ему нужно было делать над собой усилие, чтобы не пустить этого кулака в ход.

На письма Павла Леэра он перестал отвечать; ему казалось, что он ненавидит своего друга, отравившего их всех своими словами и обещаниями. Лучше было бы остаться неспособными к мышлению и продолжать жить в сознании, что все идет так, как должно итти, чем узреть издали жизнь и счастье, протянуть к ним руки и снова очутиться во мраке ночи.

Каким дураком он был! Очевидно, никогда не настанет день, когда рабочий сможет насладиться плодами своего труда. Плеть неизменно будет плясать на его спине, и всегда тунеядец будет его господином. Как прав был горбатый писарь! И Андрей Мерц почувствовал сильную симпатию к этому человеку, почувствовал желание пойти к нему и услышать из искривленных уст горбуна насмешку и издевательства над тем, чему он, Андрей, еще так недавно молился.

В один из праздничных вечеров, проходя по деревне, он увидел горбуна, сидящего на скамеечке перед своей хижиной с маленькой девочкой на коленях. Андрей подошел к нему, остановился и нерешительно пробормотал: „Добрый вечер!".

Когда он взглянул на горбуна, то его охватило изумление. Неужели мягкий свет весеннего вечера, нежный зеленоватый отблеск молодых лип так изменили черты горбуна? Злобная улыбка исчезла, и на всем лице лежало выражение ясного спокойствия. Горбун немного подвинулся и предложил Андрею сесть рядом с собою.

Андрей сел и долго молчал, не зная, с чего начать разговор. Ему хотелось заставить горбуна заговорить о неудавшейся забастовке, ему хотелось слушать насмешки и глумления над своими несбывшимися снами. Ему казалось,

что это облегчит его душевную тяжесть. Видя, что горбун молчит, он сказал раздраженным тоном: „А забастовка-то провалилась".

Нет.

— А ведь вы были правы, уговаривая рабочих спуститься в шахту.

Да, я был прав.

Тон, которым были произнесены эти слова, поразил Андрея.

— Вы ведь радовались началу работ?—спросил Андрей.

— Нет.

Андрей с изумлением посмотрел на горбуна.

— Но ведь вы старались... Вы, ведь...

— Нужно чем-нибудь жить. Горбун пожал плечами.—И все-таки я был бы рад, если бы вы прикончили со всеми господами.

Андрей не верил своим ушам.

— Да, ведь, вы всегда были на стороне хозяев.

Маленькие глазки горбуна пытливо огляделись вокруг и в них заблистал странный огонек. Заговорил вполголоса:

— Разве вол стоит на стороне крестьянина, подгоняющего его кнутом? Но пока кнут находится в руках у крестьянина, вол должен работать. Нужно чем-нибудь жить.

Затем он заговорил поспешно, точно подгоняемый каким-то невысказанным внутренним чувством:—Как я могу стоять на стороне господ? Мне 45 лет, и за все это время я ни разу не был по-настоящему сыт. Мне было 14 лет, когда я поступил писцом в канцелярию. Писал по 10 часов в день, брал работу на дом, чтобы заработать лишний грош. Мне хотелось учиться.—Он горько засмеялся.—Да сын странствующего разносчика имел наглость стремиться к науке. Он постучал костлявым пальцем по своему высокому, выпуклому лбу.—Там,—говорил я себе,—находится нечто, чего не хватает богатым, и это поможет м[illegible] завоевать весь мир.—Злобный смех потряс все его тщ[illegible]ушное тело.—Отец умер, осталась мать с тремя ребятишками. Я должен был зарабатывать, чтобы помогать матери. Когда малыши были пристроены, я уже состарился для учения. Сын купца, в конторе которого я работал, глуповатый парень, пустоголовый, самомнящий, поступил в университет, а я должен был

Эта крошка увидит новый мир, если до тех пор не подохнет...

заниматься писарским делом. Господа украли у меня всю жизнь, а вы воображаете, что я стою на их стороне?

— Но ведь вы уговаривали нас начать работу...

— Семеро детей, восьмой на пути, и сын странствующего разносчика,—однотонно ответил горбун, словно читая литанию. Затем, оживившись немного, прибавил:—А может быть в этом было и что нибудь другое.—Задумчиво смотрел перед собой.—Да, это была зависть! Я вас ненавидел, потому что вы нашли в себе мужество и силу бороться за свое право. Я работал всю жизнь и молчал, переносил все несправедливости и издевательства, чтобы не потерять места. И вот приходите вы, ничего не знавшие о свете, кроме ваших угольных ям и кабака, необразованные невежды, и принимаетесь орать: рабочий тоже человек, рабочий требует своих прав. Я 30 лет подряд разжевывал эту мысль и душил ее в себе: писец тоже человек, писец требует своих прав. Эта мысль была горька, она отравила мне всю кровь. Я сделался злым и недоброжелательным человеком, я... Он остановился, покачал ребенка, сидящего у него на коленях и пробормотал про себя: „зависть, да, зависть"...

— Неужели вы думаете, что всегда будет то же самое, что и сегодня? спросил Андрей Мерц.

Горбун покачал головой.—Думаю, что не всегда.

— Но ведь вы тогда говорили...

— Тогда я должен был это говорить. Но, когда я увидел, что вы можете дружно держаться, что вы предпочитаете смерть предательству, я поверил в возможность нового мира.—Он ласково провел рукой по головке ребенка.—Эта крошка увидит новый мир, если до тех пор не подохнет с голоду.

Андрей молчал. В сердце его опять проснулась надежда, которую он, казалось, уже схоронил.

Горбун робко взглянул на него и проговорил печальным голосом:—Пожалуйста, не говорите никому, о чем я с вами говорил. Меня могут уволить с места.

Заметив удивленный взгляд Андрея, он насмешливо прибавил:—Да, да, трусость. Наша трусость - хорошее оружие для наших врагов. Но что же делать? Нужно чем-нибудь жить.

ГЛАВА XIV.

„Нужно чем-нибудь жить". Эти слова преследовали Андрея, впивались в его мозг, звучали в его ушах и принимали самые разнообразные значения. Разве в этих словах не заключался неумолимый, железный закон, предающий три четверти населения всего света во власть остальной четверти? Нужно чем нибудь жить... Потребность в пище, одежде, жилище загоняла рабочих и работниц на фабрики, в мастерские, в шахты. Борьба за существование—чудовище, поглощающее все,—молодость, силу, мужество, мысли и лучшие стремления...

Странные мысли приходили в голову Андрея, пока руки его работали над добычею угля. Если бы явился человек, готовый отшвырнуть от себя жизнь, как нечто ненужное,—разве этот человек не был бы непобедим? Если бы у него нашлись сторонники, неужели они не могли бы победить весь мир?

Почему эта борьба за существование, эта жажда жизни является железным насилием? Почему во имя ее люди все выносят: голод, холод, лишения и несправедливость? Что представляет из себя эта жизнь, за которую так цепляется пролетарий?

Мрачные тени окружали Андрея, их черные облики как будто рождались из окружающего его черного угля: старый Петр Леэр, сгорбленный, с незрячими глазами, протягивающий беспомощные руки, словно ощупывая окружающие его предметы; мать, рано состарившаяся, с бледным жестоким лицом и безнадежным взглядом, и еще один образ из давно забытых детских воспоминаний: старуха со сведенными подагрой руками—Мария Рот. Приходили все новые и новые

образы, плоскогрудые, изнуренные женщины, мрачные, опустившиеся до звериного уровня мужчины, глухо кашляющие, изможденные от непосильного труда. Черные дни поглощают в своей пасти несчастных людей, серой дымкой безнадежности окутан каждый час их жизни. Неужели в самом деле надо жить?

И перед ним встал ясный облик девушки, которую он недавно видел,—дочери владельца шахт. Розовые щечки, блестящие глаза, легкие ткани, облегающие стройную фигуру. Девушка подбирает платье, чтобы не запачкаться в угольной пыли, смеется, болтает, каждый ее взгляд, каждый жест говорят: „весь мир принадлежит мне!“ Эта девушка тоже живет; странно, что для двух таких различных понятий, как жизнь Андрея Мерц и жизнь этой прекрасной девушки, существует одно и то же наименование—жизнь. Понятно, что люди, подобные дочери хозяина, высоко ценят жизнь, состоящую из красоты, удобств и счастья.

Сверху упал кусок угля; Андрей бессмысленно уставился на него. В голове его мелкнула мысль: чтобы ее жизнь была ясной, моя жизнь должна быть мрачной, из моей ночи сияет ее день, на моей могиле строится ее дворец. Ему почудилось, что на его месте находится человек, попавший в руки разбойников. Он наг и нищ, потому что у него все отняли: молодость, силу, счастье. Лицо его исказилось от гнева. Для чего даны ему две руки, если он не обороняется от разбойников, зачем ему дана голова, если он не в состоянии разрушить их ухищрений? Если бы в этот момент перед ним предстала прекрасная дочь хозяина, или ее брат, знатный, молодой человек, даже не отвечающий на поклоны рабочих, он сорвал бы с них платье до последней нитки,—вы у меня украли это платье! Он сломал бы тонкие белые пальчики девушки,—взгляни на мои руки, работающие для того, чтобы ты могла иметь в руках все счастье мира! Он выколол бы им глаза,—вы украли у меня возможность видеть красоту, чтобы самим пользоваться этим счастьем!

У него кружилась голова. Странный, сладковатый запах проникал в его горло, в глазах крутились огненные колеса. Ему казалось, что он вырос, что его голова доходит до верхнего слоя шахты. Острая боль сверлит его мозг. Что с ним? Кто он? Андрей Мерц, ограбленный, эксплоатируемый,

несчастный рабочий? Нет, в нем живут все стремления замученных людей, вся ненависть тех, кто должен страдать от окружающей несправедливости, в нем живет вся сила пробуждающихся рабов. Он поднял руки; он раздавит этот мир несправедливости вместе со всеми господами, он...

Его руки бессильно опускаются; желтые и красные, огненные колеса вплотную приблизились к нему, окружили его. Со стоном, хватая воздух запекшимися губами, он тяжело грохнулся на земь.

Странный запах привлек нескольких шахтеров. Они нашли Андрея без сознания.—Газ,—коротко сказал один из мужчин, когда Андрея подняли,—мы пришли как раз во время.

Они вынесли его на воздух, влили сквозь стиснутые зубы немного воды. Когда он открыл глаза и краска опять вернулась на его мертвенно бледные щеки, он запинаясь проговорил:—Вы неправильно выговариваете это выражение, следует говорить:—нужно ж и т ь, а не—н у ж н о жить.

*

Толстый доктор спрятал стетоскоп в карман и обратился к Марте Туссек:—Вам нужно уехать отсюда, вы должны жить на свежем воздухе, угольная пыль—яд для ваших больных легких,—и продолжая обычную врачебную фразеологию, применяемую врачами у постели богатых больных, прибавил,—хорошее питание, никакого утомления...

Девушка горько рассмеялась.—Уж не хотите ли вы послать меня на юг, господин доктор?

Автомат в голове врача прохрипел:—Конечно, конечно, юг был бы вам очень полезен, где-нибудь на берегу Средиземного моря... он взглянул на больную и, точно сообразив, кто перед ним стоит, закончил:—Ну, я думаю и так все пройдет.

— Вы думаете?

Толстяк замялся.—Если вы будете беречься... хорошо питаться... не будете надрываться над работой...

— А чем же мы будем жить? Заработка отца не хватит на нас двоих.

Врач пожал плечами.—Жаль, очень жаль. Вы еще так молоды...

— Да, я еще молода, передо мною долгая жизнь, может быть, прекрасные, счастливые годы. Но потому что я бедна, я их никогда не увижу, и умереть-то я должна только потому, что я бедна.

Врач неодобрительно покачал головой.—Не говорите так. Это все очень прискорбно, но нужно покориться воле провидения.

— А с вашими богатыми пациентками, вы так же говорите, господин доктор?

— Если имеются необходимые средства... Путешествие... здоровая окружающая обстановка... но, милое дитя мое, мы не должны роптать на провидение и на божью волю.

— Божья воля! Разве бог обещал мою жизнь кому-нибудь другому, у кого случайно нашлись богатые родители? Я должна умереть, чтобы жили другие, чужие мне люди, которых я совсем не знаю. Какое богу дело до всего этого? Разве бог—эксплоататор, враг бедных, раб богатых, определяющий свои решения в зависимости от размеров кошелька, разве бога можно подкупить банковским чеком?

— Успокойтесь, при вашем состоянии здоровья каждое волнение вредно и может вызвать новое кровоизлияние.

Толстый врач беспокойно заерзал на месте.—Приходите через месяц на осмотр. Я должен принять других пациентов.

Горькое отчаяние охватило девушку; ее губы дрожали, жаркие слезы горели в глазах.

— Господин доктор, помогите мне, я не хочу умирать! Жизнь прекрасна даже для нищих, солнце светит, все цветет. Неужели я не увижу лета? Помогите мне!

Лицо врача смягчилось: он любил, когда маленькие, беспомощные, умоляющие люди признавали его могущество. Задумался на минуту.

— Я бы посоветовал вам обратиться к хозяину. Это благородный человек, весьма доброжелательный; на всех подписных листах за его именем следуют крупные суммы пожертвованных им денег. Быть может, он устроит вам поездку куда-нибудь в деревню. Но,—он наморщил лоб,—как ваша фамилия?

— Марта Туссек.

— Туссек, Туссек... Вы были в стачечном комитете?

— Да.

Жаль, очень жаль. Тогда, конечно, хозяин ничего для вас не сделает. Вы сами видите, милое дитя мое, как нехорошо восставать против властей и господ, против порядка, установленного самим богом.

— Разве это так несправедливо, — восставать против мирового порядка, во имя которого люди умирают только потому, что они бедны?

— Все еще угрозы! — Маленькие глаза врача гневно засверкали. — Этот угрожающий тон придется оставить. Болезнь делает людей кроткими и смиренными. Так приходите же через 4 недели.

Выйдя на улицу, Марта Туссек остановилась и блуждающими глазами оглянулась вокруг. Смертный приговор... Ее взгляд упал на большую яблоню, на которой уже начали краснеть плоды. Как это было прекрасно, как был красив каждый отдельный листик этого дерева. Она подставила свое лицо ласке солнечных лучей и протянула им навстречу свои холодные исхудалые руки. Жить! Смертельный страх овладел ею. Ах, только бы не умереть, только бы продолжать существовать. Но ведь это невозможно. Она чувствует еще себя, чувствует свое тело, чувствует биение крови в своих жилах, ее голова еще думает—и все это должно перестать существовать? Ее положат в сырую могилу на кладбище, бесчувственную, застывшую! Почему? Ее могли бы спасти деньги, всего какая-нибудь тысяча марок. Она замечталась: длинные дни без всякой работы, где-нибудь на лоне природы, кругом чудный свежий воздух, молоко, яйца, свежая здоровая пища,— все это возвращает ей утраченные силы...

Марта громко засмеялась,—ведь еще нет денег на уплату за квартиру, а это значит, что нужно опять сесть за швейную машину. Каждый лишний стежок, каждый шов будет съедать кусочек ее жизни. Смертный приговор. Ее бедность приговорила ее к смерти. А может быть это сделало богатство других?

Это было мучительное умирание. Юное тело боролось, молодой жаждущий жизни дух возмущался против неизбежности. Марта Туссек цеплялась за каждое мгновение жизни, дрожала при звуке стенных часов: ей оставалось жить часом меньше. Даже когда ноги уже отказывались держать ее, она

не хотела лежать в постели, с трудом добиралась до большого кресла у окна.

Андрей Мерц проводил у нее все свое свободное время.

— Ты такой теплый, ты живешь,—говорила Марта,—не уходи, ты придаешь мне силы.

Со щемящей болью в сердце и с горящими гневом глазами, Андрей Мерц наблюдал за медленным умиранием своей подруги. Когда она жаловалась на жестокую несправедливость мира, в котором жизнь отдельных людей, если они бедны, не имеет никакой цены, Андрей сжимал кулаки и в нем пробуждалось желание схватить кого-нибудь за горло. Иногда они долго сидели молча, затем Марта Туссек слабым голосом начинала говорит о новом мире, которого она уже не увидит. Все стремления, все неосуществившиеся мечты умирающей сливались в видении этого нового прекрасного мира. И когда Андрей прислушивался к ее словам, то в сердце его опять пробуждалась старая вера: да, новый мир придет, это будет мир рабочих, мир, в котором будут царить справедливость и счастье, но мы не можем его создать с такою же легкостью, с какою библейский бог сотворил мир двумя словами: „Да будет!" Перед нами лежат еще годы борьбы, тяжелых кровопролитных схваток. Хватит ли у нас силы выдержать, хватит или у меня сил?

Лихорадочные, озаренные фанатическим светом, глаза больной и ее хриплый голос отвечали на эти немые вопросы Андрея:—Да, да. Мы видели только начало, Андрей, мы видели чудо, когда наша мысль проснулась. Взгляни на наших шахтеров. Правда, они еще недостаточно сознательны, они утомлены и потому избегают борьбы. Но они уже не так слепо повинуются судьбе.—Она глубоко вдыхала в себя воздух, затем голос ее продолжал страстно звенеть:—О, эта ужасная покорность! Будь у меня силы, я пошла бы к каждому отдельному рабочему, чтобы встряхнуть его, чтобы крикнуть ему: ты не должен быть таким! Ты не должен работать, как вьючное животное, в то время как другие пользуются плодами твоей работы. Твоя беременная жена не должна работать на фабрике или в руднике, во вред себе и своему будущему ребенку. Твои дети не должны голодать и мерзнуть и преждевременно запрягаться в работу!

Ее голос прервался, крупные слезы покатились по исхудалым щекам, и она закончила, задыхаясь от рыданий:—Мы не должны умирать молодыми только потому, что у нас нет средств на лечение.

Толстая Анулька часто приходила навещать больную и приносила с собой всякой всячины: яиц, сала, даже как-то притащила бутылочку освященной воды.—Натри себе грудь—попросила она,—и помолись матери божьей. Может быть, она тебе поможет. Она, ведь, сама была бедна и должна знать, как тяжело живется бедному люду.

Но так как и святая вода не помогла, и Марта Туссек угасала с каждым днем, добродушная чешка глубоко скорбела. Однажды, она отвела Андрея в сторону и шопотом спросила его:

— Неужели она должна умереть? Неужели нет средства, чтобы помочь ей? Мой Венцель зарабатывает достаточно, да и у меня от покойного отца осталось немного денег, я купила бы ей лекарства.—Андрей отрицательно покачал головой.—Нет, Анулька, для нее уже нет лекарства. Наступает зима, и холод убьет ее, — прибавил с горечью в голосе, — да, если бы она была богата и могла бы уехать на юг...

Толстая Анулька погрузилась в глубокое размышление; она морщила лоб и потирала свои большие красные руки. Видно было, как она ломала свой бедный неповоротливый ум. Вдруг улыбка осветила все ее добродушное широкое лицо.—Слава Иисусу, Марии и Иосифу! Я знаю, что нужно сделать.

На следующий день она нарядилась в свое праздничное платье, взяла корзинку со свежими яйцами, полученными ею из дома, и направилась к хозяйскому дому. Ей долго пришлось упрашивать слугу, чтобы он допустил ее в рабочий кабинет хозяина.

Анулька сделала подобающий книксен и вежливо обратилась к хозяину:—Милый, добрый барин, я принесла вам прекрасных свежих яичек из Богемии.—Изумленный хозяин взял корзинку, дал чешке пять марок и поклонился ей в знак того, что аудиенция окончилась. Но Анулька не уходила.—Здоровы ли ваши милые детки?—вежливо опросила она.

— Да, спасибо.

Хозяин с нескрываемым изумлением смотрел на толстуху; он отлично знал, что рабочие его не любят и потому

Хозяин с нескрываемым удивлением смотрел на толстуху.

никак не мог себе объяснить этого внезапного интереса к его детям.

— Вы вероятно любите своих детей, добрый барин?

— Да.—Что нужно было этой толстухе?

— И если бы они были больны, от чего избави вас бог и его святые, вы, вероятно, были бы очень огорчены?

— Да.

— Так жаль, когда умирают молодые люди.

— Да, да. Но что вам нужно, милая женщина? Я, правда, очень занят...

Толстая Анулька расставила ноги и прислонилась широкой спиной к дверям. Вся ее фигура говорила: „Я останусь здесь, пока не скажу всего". Затем она рассказала всю горькую историю жизни и болезни Марты Туссек и закончила словами: „Вы богаты, добрый барин, вы можете послать несчастную девушку туда, где и зимою сияет солнце; бог заплатит за это вам, вашим детям и внукам".

Лицо хозяина омрачилось. Резко и нетерпеливо он объяснил женщине, что ему нет никакого дела до девушки, что она никогда не работала в его копях и что он не может помогать всем посторонним людям; кроме того, она была одной из руководительниц стачки, а потому Анулька может уходить, ибо у него нет времени для дальнейших разговоров с нею.

Анулька подбоченилась, ее широкое лицо густо покраснело; она в упор взглянула на хозяина и, повышая голос, крикнула ему в лицо:—Понимаете ли вы, что человек умирает, потому что у него нет денег на лечение? У вас-же денег больше, чем вам нужно, и вы не хотите ей помочь!..

Хозяин нетерпеливо пожал плечами.

— Я вам уже сказал, что мне до этого нет никакого дела.

Лицо Анульки исказилось.

— Да, Каин то же самое ответил богу, когда тот спросил его об Авеле.—Ее голос задрожал.—Милый, добрый барин, прошу вас...

— Не трудитесь говорить. Ступайте!

Толстая чешка расплакалась.—Я никогда не хотела верить, когда мне говорили, что все богатые люди злы, я всегда думала, что вы просто не знаете, как живется беднякам, что вы зарылись в свое золото, и оно является стеною между

вами и другими людьми. Но оказывается это правда, вы не только злы, вы просто звери, убийцы.

Хозяин вскочил.

Если вы сейчас не уберетесь, дерзкая баба, то я велю вас вышвырнуть вон.

— Ухожу, ухожу.

Она отерла слезы. В дверях остановилась, заговорила торжественно, с достоинством:

То, что вы сделали для этой бедной девушки, будет когда-нибудь сделано вашим детям. Господь бог и его святые накажут вас за ваше жестокое сердце: когда вы будете к ним обращаться с молитвой, они не захотят услышать ее. И когда вы умрете, и ваша душа будет гореть на вечном огне, никто за вас не прочитает молитвы богородице. А Анулька будет отныне каждый день просить Христа и благословенную матерь его, чтобы они наказали злого, богатого человека, более жестокого, чем убийцы!

* *

В декабре, в туманный холодный день Марта Туссек закончила свой земной путь. Андрей работал в смене. Анулька за полчаса до этого ушла домой; старый кузнец валялся пьяный в своем углу и что-то бормотал себе под нос.

Марта почувствовала, что горло ее сжимается. Она закашлялась удушливым, тяжелым кашлем; что-то горячее, клейкое потекло изо рта, белье окрасилось в ярко-красный цвет: кровь.

— Отец! Отец!

Старый кузнец поднял голову. „Оставь меня в покое, даже в праздники не дадут отдохнуть.“ Он наполнил свой пустой стакан, выпил его залпом и довольным голосом пробормотал:

— Что хорошо, то хорошо. Хочешь пить, Марта?

Девушка тихо стонала. Кровь все еще текла изо рта, и ее объял безумный страх смерти. Холодный пот выступил на лбу, руки липли от крови и мокроты. Казалось, весь свет состоит из крови и мокроты.

— Я задыхаюсь!

Неужели никто не придет к ней на помощь, неужели она одна во всем мире? У нее потемнело в глазах.

— Отец!

— Да, да. Не мешай мне! Я сейчас дам тебе напиться.

Она хрипела. Все ее тело содрагалось. Обеими руками она хватала окружающий воздух. Упала навзничь. Из ее горла вырывались полузаглушенные звуки. Потом все смолкло, и в хижине воцарилась мертвая тишина.

Старый кузнец налил себе новый стакан водки и пьяным голосом бормотал: „Что хорошо, то хорошо".

Он залпом опорожнил стакан, и скоро в комнате раздался его пьяный храп.

ГЛАВА XV.

Смерть Марты Туссек произвела глубокое впечатление на Андрея Мерц. Он долго не мог забыть картины, представившейся его глазам, когда он на рассвете вернулся со смены и зашел в хижину кузнеца. Безжалостный холодный свет раннего утра наполнял тесную смрадную лачужку. В углу храпел пьяный кузнец. Марта Туссек лежала на кровати с искаженным восковым лицом. Подбородок глубоко опустился на грудь, сквозь открытые губы, словно в зловещей улыбке блестели зубы, остеклевшие глаза смотрели прямо перед собой. От одеяла, покрытого кровью и мокротой, шел отвратительный запах. К печали, охватившей Андрея, примешалась тупая злоба. Так вот как умирают бедняки! Ни врач, ни сиделка не облегчают их последних минут, никто не закрывает им глаз. Покойник лежит в отвратительной грязи и смраде, перекошенный в предсмертной борьбе, рот зловеще улыбается, словно оттуда готова вырваться жалоба, мольба о жизни, которую у него украли другие. И в углу храпит безразличие, облеченное в скотский образ пьяницы...

Андрею казалось, что со смертью Марты Туссек окончилась его молодость. Ему было 24 года, он был высок ростом, черты лица его были словно высечены из камня, а глаза носили скорбно-озлобленное выражение. Чем наградила его до сих пор жизнь? Работой, от которой болели все кости, однообразной работой в безнадежной ночи шахты. Бывали моменты животного наслаждения, когда он, после нескольких стаканов водки, проводил время с девушками. Бывали и большие проблески счастья в те дни, когда рабочие проводили забастовку, когда вспыхивало красное пламя надежды. Но это большое счастье было куплено ценою горького разо-

чарования, крушения всех надежд. Пока Марта Туссек была жива, он цеплялся за нее, за ее непоколебимую веру. Теперь, когда он остался один, ему казалось, что все в нем умерло. Покорность судьбе многих эксплоатируемых, приниженных поколений жила и в нем. Рабочий не может стряхнуть с себя проклятия подъяремного труда, все его усилия тщетны. К чему стремления и борьба, на что он может надеяться? В стране вечного утра лежит новый мир, но войти в него никому не дано.

Ему захотелось бросить работу в копях и где-нибудь в другом месте найти применение своей силы. Его манили чужие края, новые страны, новые люди, красота, солнце. Но, ведь, он ничему другому не учился, знал лишь свое угольное дело, а это обозначало, что куда бы он ни пошел, над ним тяготела бы та же вечная ночь, однообразие которой угнетало его и здесь.

Пока он колебался, взвешивая все „за и против", в угольный район приехал младший брат Анульки. Андрей с изумлением смотрел на высокого, стройного юношу со смелыми голубыми глазами, с дерзким вздернутым носом. Францишек Сова занимался плетением корзин; в своих странствиях он обошел половину Европы в сопровождении маленькой косматой рыжей собачки. В своих живописных лохмотьях, вечно голодный, вечно улыбающийся, с головой, набитой всякими шутливыми выходками, Францишек показался Андрею Мерц существом из другого мира.

— Сегодня я сколотил копейку и буду жить, как князь,— улыбаясь говорил молодой чех.

— А завтра я опять обнищаю и буду просить милостыню, а может быть и красть, смотря по обстоятельствам. Патеру я говорю: „матерь божья вознаградит вас"; с пастором рассуждаю о моей евангельской вере, а раввину просто говорю: „я беден". И мне дают деньги. На своих двух ногах я обошел пол-света. Мир прекрасен. Везде существуют чудные страны, горы, моря и красивые девушки. Жизнь хороша.

Андрей Мерц сурово смотрел на него:—Жизнь ужасна. Повсюду несправедливость, страдание и нищета.

Францишек громко рассмеялся.—Жизнь ужасна, потому что люди глупы. Если у тебя слишком много, а у меня слишком мало, то я беру у тебя лишнее. Люди называют это воров-

ством, а я говорю, что вор тот, кто имеет больше, чем ему нужно. Почему я не могу отобрать у вора украденное им? Ведь попы тоже говорят, что неправильно нажитое не идет впрок!

И вперяя в Андрея взгляд своих смелых, ясных глаз, принявших строгое, почти гневное выражение, он продолжал:

Вы все так глупы, так ужасно глупы! Куда бы я ни пришел, везде я слышу только жалобы и стоны: „Мы бедны, мы должны работать до боли в костях, и нашего заработка не хватает на жизнь". Когда же я говорю людям: так возьмите же, что вам нужно, все у вас под руками,—хорошая еда, теплая одежда, прекрасные дома,—они всплескивают руками и кричат, что Франциšек вор! Клянусь спасением моей души, что я никогда ничего не украл у бедняка: я всегда брал лишь то, что мне принадлежало по праву, да и то не все.

Взглянув на свои лохмотья, он прибавил:—Чем я не хорош? Почему нет у меня прекрасного платья и шикарных сапог? Как ты думаешь, сколько всяких костюмов у человека, которому принадлежат здешние копи? Два, три, четыре? Разве он не украл их у меня, одетого в лохмотья? Даже, если он их купил, разве деньги на покупку не украдены им у нас, бедняков? Разве он не обкрадывает вас ежедневно, ежечасно, пользуясь вашим трудом, так скудно оплачиваемым, разве он не крадет вашей силы и молодости, разве не крадет беззаботного отдыха вашей старости? Не крадет вашего счастья, жизни, наслаждения? И мы должны щадить этого бедного богача, и не отбирать у него награбленных им ценностей?

Франциšек побарабанил по оловянному блюду, зажатому между коленями, засмеялся и вполголоса запел чешскую народную песенку.

Толстая Анулька одобрительно кивнула головой:—Франциšек прав.

— Конечно, я прав. Кто издал первый закон против воровства? Первый человек, у которого всего было больше, чем нужно,—первый и величайший вор. Тебя сажают в тюрьму, когда ловят на краже, но вот уже сотни лет, что люди склоняются перед законом, созданным вором, боявшимся за судьбу своего добра. Разве это не глупо?

Молодой чех взглянул на Андрея, неодобрительно покачавшего головой. — Неужели ты меня не понимаешь? Угольная пыль застилает твои глаза, братишка! Протри их хорошенько, чтобы лучше видеть.

Франциšек смеялся, и все же суровая тень ложилась на его юное, смелое лицо, и ясные голубые глаза становились холодными и жестокими.

— У всех у вас в глазах скопилась угольная пыль, вы, ведь, не видите, что весь мир стремится к чему-то новому. Повсюду расцветает весна, и только ваши головы, как деревья зимой, остаются нечувствительными к этому пробуждению весны. Откройте глаза! Разве вы не видите, что повсюду собирается грозная рать для большой борьбы против угнетателей? Во всех странах, у всех народов. Даже у вас, немцев. Не даром зовут вас немцами—немыми. Вы молчали и много лет терпели, не произнося ни слова. Теперь настало и для вас время открыть рот, кричать и рычать: „Мы не скоты, мы требуем справедливости“! А если крик не поможет, то разве у вас нет кулаков? Если же и кулаки не помогут, то, ведь, у вас может быть оружие? Если воры и разбойники добровольно не отдадут свою добычу, то, ей богу, придется взять силой.

Андрей Мерц был бледен, как полотно. Задыхаясь, он сдавленным голосом спросил Франциšка:—Ты социалист?

Франциšек расхохотался еще громче.—Конечно! неужели ты думаешь, что если я не вешаю головы, не скорблю о несправедливости нашего света, то я уже не могу быть социалистом? Разумеется, часто и меня охватывает злоба, но я прекрасно знаю, что скоро наступит день, когда все величайшие воры будут качаться на виселице, а мы, угнетенные, сделаемся господами положения. Вот это меня и радует и позволяет мне так весело смеяться.

И Андрею Мерц показалось, что с души его свалилась громадная тяжесть. Непоколебимая вера этого чужого человека теплым потоком хлынула в его душу и вдохнула в нее жизнь.

Толстая Анулька, любившая Андрея и болевшая своею доброй душой за этого молчаливого замкнутого парня, сказала:—Пойди-ка ты вместе с Франциšком, Андрей. Летом хорошо бродяжить; к зиме можешь и вернуться.

— Да, пойдем-ка вместе, братец, тебе следует посмотреть на свет. Где хватает на одного, хватит и на двух.

Я должен подумать об этом,- возразил Андрей.

— Подумать! подумать!—Чех нетерпеливо рассмеялся. —Вы, немцы, способны раздумывать до самой смерти. В воскресенье я ухожу, и ты пойдешь со мною.

В воскресенье Франциш ушел из угольного района и вместе с ним ушел и Андрей, смущенный и оглушенный важностью своего решения, но полный стремления в неизведанную, сияющую даль.

Прошло несколько дней. Сначала Андрей с трудом воспринимал чуждое ему чувство полнейшей свободы. Неужели действительно существовала жизнь, где человек был господином своей судьбы и не должен был по утрам повиноваться злобному призыву сирены? Неужели возможно располагать по усмотрению каждым часом своей жизни; бродяжить, когда хочется; валяться на мягкой траве, когда ноги устанут? Весенняя красота земли была для него откровением; свежесть покрытых утренней росой полей, кристальная струя ручьев и рек, торжественная красота задумчивого леса,—все это удивляло и радовало его. Откровением была ему и неизменная веселость молодого чеха, шедшего рядом с ним, насвистывая, распевая и болтая.

— Ты только тогда сможешь сделаться настоящим социалистом, когда узнаешь, каким прекрасным может быть мир для угнетенных,—говорил Франциш.—Ведь, вы даже не знаете, что у вас украли, и лишь смутно чувствуете, что с вами поступили несправедливо. Но вы и не подозреваете, как чудовищна эта несправедливость!

Однажды в ясный сияющий майский день, лежа рядом с Андреем под цветующей яблоней, Франциш вдруг выпалил:—А твои товарищи сейчас работают в шахте, во мраке и среди угольной вони.

Андрей Мерц вздрогнул; острая боль пронизала его сердце, и вся сияющая красота майского дня поблекла в его глазах. Франциш внимательно наблюдал за ним.

— Ну, опять запечалился, ты должен не грустить, а гневаться. Хороший, сильный гнев, готовый перейти в дело, вот, что необходимо тебе.

— Но что же я могу сделать? Ведь я один?

— Ты болван,—ругнул его Францишек.— Разве у тебя нет глаз? Наполни их всей красотой, которую ты видишь перед собой. Разве у тебя нет языка во рту? Употреби его на то, чтобы по возвращении к товарищам, работающим во мраке глубокой ночи, описать эту красоту. Заставь их почувствовать величие и радость окружающей нас красоты и тогда скажи им: „и вы бы хотели наслаждаться всем этим? Да, милые мои, все это не для вас, все это только для богатых. А для вас существуют труд, грязь, смрад и нужда. Продолжайте и впредь работать без устали. Каждый удар мотыги, каждое движение ваших рук увеличивает счастье богатых и всегда будет увеличивать, пока фабрики, рудники, заводы и проч. не будут принадлежать трудящимся!"— Скажи им это, повторяй им это без конца, пока это не проникнет в их сознание!

Золотые летние дни, осиянные солнцем и обвеянные ароматом, шли один за другим. Андрей Мерц забыл свой угольный район, забыл все разочарования и, как дитя, радовался своей свободе и новым впечатлениям. Эти ясные веселые дни дали ему силу, необходимую для дальнейшей борьбы.

Они прошли всю Южную Германию и Швейцарию, дошли до Италии, слонялись по равнинам Ломбардии, по сияющим голубым Тосканским холмам и вдоль морского берега шли все дальше и дальше к югу. Наконец, они дошли до Неаполя.

Италия была новым откровением для Андрея. Солнце, солнце, золотое днем, багрянное вечером. Не то, что бледное, точно покрытое ржавой дымкой, солнце его родины; нет, солнце могучее, пламенное, изливающее свои милости на все окружающее, все благословляющее и оплодотворяющее.

Широко раскрытыми глазами смотрел Андрей на темно-голубое сверкающее море, на тонущие в золотистом тумане острова. Где-то недалеко играла шарманка, чьи-то теплые веселые голоса напевали песенку, полуголые, загорелые ребятишки резвились на улице. „Красота", — он часто читал это слово в книгах, никогда не усваивая значения его. Теперь он видел ее, воплощенную, облеченную в кровь и плоть. Ему было радостно и горько. Здесь и люди были

иными, чем в оставленной им далекой родине; в них было много детского, много беспечности и смеха. В них совершенно не было боязливой приниженности, столь свойственной беднякам. Даже нищие, одетые в живописные лохмотья, протягивали руку за подаянием, словно дело шло о веселой шутке. Из-за жалобных слов, произносимых ими, выглядывали плутовские глаза, и лохмотья облегали их стан, словно королевская мантия.

— Сплю я или нет,—спрашивал Андрей своего спутника. —Неужели все это существует на яву, а не в моем воображении?

Веселый чех заливался смехом.—Небось ты и не знал, бедный дурень, что на свете так много красоты?

Францишек очень быстро сходился с людьми; он наскоро выучил несколько итальянских слов, а недостающие ему слова заменял улыбкой и жестами. Ему никто не был чужим; если бы он попал в Африку или в Азию, он наверное бы обращался с чернокожими и желтокожими совершено так же, как со своими белыми братьями.

— Различие рас и народов—нелепая болтовня,—говорил он.—Всем нужно одно и то же: хлеб, радость; все страдают от одного и того же: от нужды, угнетения, болезни. Как же нам не понять друг друга? Но крупные разбойники боятся этого нашего взаимопонимания, а потому они уверяют нас, что чехи, французы, итальянцы, немцы — все это разные народы. С внешний стороны это, пожалуй, верно, — но только с внешней; сущность же одна.

Однажды он повел Андрея в большой белый дворец. Там были всевозможные статуи и бюсты, высеченные из белоснежного мрамора и отлитые из темной блестящей бронзы. Францишек быстро провел его через колоссальные залы и остановился лишь в последнем, маленьком зале, где находилось лишь одно произведение искусства.

— Взгляни-ка на эту штуку,—заговорил чех.

Андрей взглянул на три мужские фигуры, обвитые кольцами чудовищной змеи и употребляющие тщетные усилия вырваться на свободу. Все мускулы и жилы напряжены до крайности, лица искажены предсмертным ужасом и невыносимою болью. Андрей испуганными глазами смотрел на эту муку, застывшую в каменной неподвижности.—Что это?—

Здесь и люди были иными, чем в оставленной им далекой родине..

наконец, спросил он вполголоса, ему казалось, что перед этим невыразимым страданием нельзя даже громко говорить.

— Это вывезено из Греции,—ответил Франциšек.—Я не знаю, что это должно было представлять собою в то время. Но что это обозначает собою сегодня, это я твердо знаю. Всмотрись внимательно; неужели ты не угадываешь, что в себе воплощают эти люди?

Андрей молча покачал головой.

— Эти три человека — это мы,—объяснил чех.—Народ, пролетариат всего мира. Нас захватил в свои кольца громадный змей — капитализм, он разломил наши кости, он давит и душит нас. Мы отчаянно боремся с этим чудовищем, смертный ужас в наших глазах и гнев—в сердцах. Я не знаю, удалось ли этим трем грекам освободиться, или эта бестия их удушила. Но мы будем бороться и освободимся, встряхнем с себя этого чудовищного червяка, раздавим и уничтожим его.

Андрей молчал. Слова товарища вызвали в нем тягостные воспоминания. Когда они снова вышли на улицу, он не видел ни сияющего летнего дня, ни сверкающего синего моря, он видел внутренними очами сырую, ночную черноту своих родных угольных ям. Он не слышал звенящих, теплых итальянских голосов, ему слышались разговоры полумертвых от усталости людей, голоса, повторяемые эхом подземных шахт. Ему показалось чудовищною несправедливостью, что он здесь отдыхает душою и телом, а товарищи его изнемогают под гнетом тяжкой работы и страдают в шахтах.

Вечером они сидели у входа в маленькую харчевню и ели мороженое. Перед ними темнело море; громадный пароход, мощное чудовище с бесчисленными сверкающими глазами, медленно входил в гавань. Ночную тишину нарушали поющие голоса. Где-то вдали звенела гитара. Из садика доносился крепкий аромат гвоздики. Лето, роскошь, жизнь...

Франциšек лениво потянулся, поднял руку и указал на входящий в гавань пароход:—Я хочу отправиться дальше, еще дальше! Хочу объехать весь свет, хочу изучить все страны, всех людей. Завтра же поищу судно, отправляющееся в Африку. Наймусь юнгой, ты поедешь со мной, Андрей.

Андрей ничего не ответил; тяжелая грусть охватила его душу и не давала ему говорить.

Франциšек продолжал:--Да, в Африку. Хочу видеть белые дома с плоскими крышами, хочу видеть женщин в чадрах, верблюдов, караваны. А затем я поеду дальше, в Японию, где люди хоть и малы ростом и желты лицом, но зато умны. Может быть, проберусь и в Индию, где живут колдуны, наследовавшие всю мудрость этой страны...

Вдруг он заметил мрачное выражение лица своего спутника.

— Что с тобой, шоня? разве здесь тебе не хорошо? Разве ты не чувствуешь, что все зовет тебя: вперед, вперед? Весь свет принадлежит тебе, вступай во владение им!

— Я хочу домой,—беззвучно произнес Андрей.

— Но не в таком виде, не с такой печалью в сердце. Ты должен принести своим товарищам свет, радость и мужество.

Андрей молчал.

Чех схватил его за плечи и встряхнул его.

— Проснись, весь свет принадлежит нам! Нам нужно только прогнать разбойников, ограбивших нас. Ступай домой, поучай своих заржавевших товарищей по шахте, повторяй им неустанно. „Весь свет принадлежит нам, стоит только захотеть!"

Он указал на группу играющих детей:—Они наверное узнают истину и не будут больше работать на тунеядцев и воров, но слезами и жалобами мы ничего не достигнем.

На следующий день Франциšек уехал на судне, направлявшемся в Марокко; Андрей собрался домой.

Он нигде не задерживался; подобно тому, как Франциšка притягивала неизвестная даль, так Андрея Мерц тянуло домой. Ему не хотелось больше бездельничать, душа его жаждала работы, но не в шахте, а в умах и сердцах товарищей. Хотя он не знал языка страны, тем не менее его путешествие совершалось без всяких недоразумений, и он часто думал, что Франциšек прав, утверждая, что все действительно нужное неизменно для всех: хлеб, счастье. Ему тяжело было расставаться с этими чужими людьми, так охотно делившимися с ними куском хлеба, стаканом вина и так братски относившимися к нему.

Как-то раз, во время ночевки в Милане, к нему подошел рабочий и на ломанном немецком языке спросил его, что ему нужно.

— Я работал в Германии,—сказал он,—мостил улицы, у меня там много друзей, товарищей.—Он смерил Андрея пытливым взглядом.—Вы наш? Вы социалист.

Андрей молча кивнул головой.

— Вы переночуете у нас. Джульетта будет очень рада видеть немца, принадлежащего к нашей партии. Она всегда уверяет, что все немцы, приезжающие в нашу страну — богатые люди, враги. Она у меня большая радикалка, Джульетта.

И Джульетта в самом деле сердечно обрадовалась. Хотя Андрей не понимал ее быстрой итальянской речи, но самый тон, приветливые жесты и ласково мерцающие громадные черные глаза служили ему переводчиками. Андрей Мерц и итальянский рабочий проговорили до глубокой ночи. Джульетта прислушивалась к звукам чужого языка и изредка вмешивалась в разговор.

— Она думает,—объяснил ее муж,—что нужно убить всех капиталистов, ибо добровольно они не подчинятся. Моя Джульетта большая радикалка.

Андрей Мерц пробыл в Милане два дня; Антонио Прингалло познакомил его с несколькими товарищами, среди которых Андрей чувствовал себя очень хорошо. Что значат границы, что значит другой язык, когда цель одна и та же? Цель объединяет людей.

Стоя на вокзале в ожидании отхода поезда, который должен был увезти его в Германию, Андрей увидел выходящих из вагонов первого класса шикарно одетых людей, говоривших на его родном языке, и еще острее воспринял эту мысль. Он взглянул на Антонио Прингалло и Джульетту, затем опять перевел взгляд на немцев и понял, что не Антонио с женой — чужие ему люди, а те господа, говорящие по-немецки, высокомерно и брезгливо сторонившиеся от него.

Чем дальше к северу, тем серее казался свет, тем безцветнее казались люди. Иногда он спрашивал себя, не во сне ли он видел прекрасную солнечную страну?

Он сделал крюк, чтобы отыскать Павла Леэра, состоявшего редактором большой социалистической газеты. Они давно не виделись. Андрей Мерц чувствовал себя неловко со старым другом.

Мне еще следует побывать у вас, —воскликнул Павел Леэр.—У вас там все спят. Неужели никого нет, кто бы агитировал, кто бы вел пропаганду?

— Я предполагаю энергично взяться за эту работу,— возразил Андрей Мерц.

— Вот это хорошо. В городах все идет великолепно, но в деревне, в угольных районах... он пожал плечами.

Люди так устали, что неспособны к восстанию.

Нужно их встряхнуть.

Павел Леэр порылся в ящиках и шкафах, достал брошюры, листовки и протянул их Андрею.

Андрей печально улыбнулся.—Ты давно не был у нас Павел?

Почему ты об этом спрашиваешь, что ты хочешь этим сказать?

— Ты забыл, как болят глаза, привыкшие к темноте, от света лампы. Когда же несчастный углекоп сможет все это прочесть? Вечером, когда он, полумертвый от усталости, вылезает из подъемной корзины, или утром, когда после ночной смены солнечные лучи до боли пронизывают его больные глаза?

Павел Леэр смутился.

— Ты прав. Быть может, я недостаточно близок этим несчастным подземным кротам.—Он задумался на минуту и затем заговорил, скорее обращаясь к самому себе, чем к Андрею.—Вечный вопрос: что делать, чтобы не отчуждаться от своих? Неужели руководитель движения не только должен происходить из их среды, но и постоянно жить там, вести одинаковую с ними жизнь, чтобы вполне понять их?—Он взглянул на Андрея Мерц, на резкие решительные черты его лица, освещенного умными, полными сострадания глазами.

— Ты прав,—повторил он.—Будь посредником между ними и печатным словом: организуй, агитируй... ты имел возможность взглянуть на свет среди ночи; покажи им этот свет.

Они говорили еще о многом другом. Андрею казалось, что друг его сильно изменился; что-то чуждое встало между

ними и при всем желании оба они не могли преодолеть этого чувства взаимной отчужденности.

На следующий день Андрей уехал дальше; торопился в свой угольный район.

Осенние бури проносились по стране; сухие листья крутились в воздухе и толстым ковром покрывали сырую землю. Леса оделись в желтое и красное убранство.

Андрей открывал грудь сильным порывам ветра. Борьба! Все в нем взывало к борьбе. Это лето вернуло ему старую силу, старую веру, былое мужество; ему чудилось, что лишь теперь он ясно осознал, во имя чего идет борьба: хлеб, радость, счастье, красота для всех!

Был дождливый осенний вечер, когда он приехал в родные места. Сеял мелкий дождь, угольная пыль покрывала землю. Когда Андрей проходил мимо входа в шахту, оттуда выходили рабочие,—длинный ряд усталых, измученных, тупо глядящих перед собою людей.

ГЛАВА XVI.

Для Андрея Мерц наступили годы работы, годы отчаянного утомительного труда. Порою ему казалось, что разбудить всех этих усталых людей так же трудно, как детской лопаткой дробить каменистый грунт; инструмент притупляется, ломается, все члены дрожат от сильного напряжения, а твердый камень продолжает сопротивляться. Неужели эти люди никогда не откроют глаз, никогда не прозреют? Тщетно указывал он им на их страдания. Они молча неохотно выслушивали его. Иногда сжимали кулаки в карманах—это было все. Напрасно он вызывал перед ними прекрасные картины новой чудной жизни. Ослепленные угольной пылью глаза не могли воспринять этих красот. Иногда Андрею Мерц казалось, будто он рассказывает детям сказку, но дети уже вышли из того возраста, когда их занимают сказки и потихоньку смеются над ним.

Правда, бывали и светлые минуты в его жизни; в усталых глазах вспыхивала молния и, перебрасываясь от одного к другому, зажигала неугасающий пламень. Рабочий скот мало-по-малу приобретал человеческий облик,—некоторые из рабочих сохраняли этот облик лишь в течение нескольких часов, другие же не возвращались более в первобытное состояние. У Андрея появились помощники, сотрудники в великом деле.

Молодежь особенно охотно и легко воспринимала слова Андрея Мерц. Стариков удерживала тяжесть пережитых годов страдания, им не хватало веры, не хватало мужества, подчас не хватало недовольства. „Чего ты хочешь?“ спрашивали они.

„В конце концов мы ведь можем жить на наш заработок. Родились в бедности, значит должны работать"...

Но хуже всего были женщины. Их постоянный страх внедрялся между мужчинами и каждым их требованием; их ханжеское благочестие требовало повиновения воле божьей. Толстая Анулька напрасно разъясняла им, что богу совсем не угодно, чтобы они голодали и работали. Они покачивали головой и приводили слова пастора или патера.

Одного добился Андрей Мерц: его все любили, даже те, которые не могли или не хотели разделять его убеждений.

Он уже не был прежним ворчливым молчальником. Казалось, будто он привез с юга солнце и свет, и ему хотелось поделиться ими со своими обездоленными товарищами. Каждая забота, каждая нужда находили в нем сердечный отклик. Он всецело отдался великому делу. Он совершенно перестал жить для себя и, если бы Анулька не заботилась о нем, то вряд ли бы он находил время для еды и сна. Он отнюдь не чувствовал себя руководителем рабочей массы, а только голосом этих бессловесных созданий. Связанный с этою массою общим трудом, общей нуждой, он составлял ее неотъемлемую часть, понемногу научился понимать самых отупелых из рабочих, находил нужные слова для самых темных умов. Его работа среди тружеников угольного района возбудила сильнейшую злобу властей. Против него объединились патер, пастор, хозяева; они обсуждали и взвешивали вопрос—под каким предлогом можно было бы уволить этого человека. Он не давал никакого повода к увольнению, добросовестно исполнял свою работу, не делал долгов. И все же...

Однажды вечером, когда Андрей возвращался домой с работы, к нему подошла высокая, стройная девушка и боязливо шепнула ему:—Отец просил вам передать, чтобы вы были осторожнее.

Андрей удивленно взглянул на девушку. Это была старшая дочь хромого писца.

— Почему?—спросил он.

— Отец слышал кое-что в канцелярии. Вас хотят уволить.

— Они не посмеют.

— Они все могут сделать.

— Но, как это случилось, что ваш отец?..

Девушка густо покраснела.

— Отец совсем не такой дурной человек, как вы думаете. Он вас отлично понимает, но он беден... Всего боится.

Ее карие глаза вспыхнули.—Я не боюсь, я ваша, но открыто не могу об этом заявлять ради отца.

Андрей взглянул на девушку; ему понравилось ее умное, худенькое лицо, большие карие глаза, прекрасные темные волосы.

Он улыбнулся.—Я не знал, что вы успели так вырасти. Вас нигде не видно.

— Я была в городе, в услужении. Но не выдержала этого. Я не боюсь работы, но не хочу, чтобы со мной обращались, как с рабой. Теперь останусь здесь, буду заниматься шитьем.

Перед умственным взором Андрея стал полузабытый образ: Марта Туссек за швейной машиной, худенькие руки, блестящие от лихорадки глаза, а потом труп ее на постели, запачканной кровью и мокротой. Неужели эту девушку постигнет та же судьба? Сегодня она свежа, она цветет. Какой вид будет она иметь через несколько лет? Неужели чудовище поглотит и ее юность? Гнев и сострадание охватили его, сдавили горло; он не мог выговорить ни одного слова.

Девушка неверно истолковала его молчание и печальным голосом спросила его:—Вы нам не доверяете? я говорила правду, отец послал меня к вам.—Ее голос сделался теплее и мягче.—Я и от себя прошу вас—будьте осторожны. Мы не можем без вас обойтись, вы нам так нужны.

— Благодарю вас, но я не могу поступать иначе, чем до сих пор.

— Но если вас уволят?..

— На мое место найдутся другие.

Она покачала головой и продолжала итти рядом с ним.

Почему эта девушка не уходит? идет рядом с ним, не говоря ни слова, соразмеряя свои шаги с его шагами...

— Мне хотелось сказать вам еще что-то,—заговорила она, запинаясь,—вероятно, будут попытки вызвать вас на резкость, вывести вас из себя; здесь есть люди, готовые за деньги на все. Отец слышал, как...

Она замолчала. Сквозь сумерки вынырнула какая-то человеческая фигура. Девушка испуганно ухватилась за руку Андрея.

— Ах ты, сицилист, проклятый бунтовщик!..

— Не бойтесь,—успокоил он ее.—Это только длинный Ганс, опять он вдребезги пьян.

Пьяный остановился перед ними и закричал:

— Ах ты, сицилист, проклятый бунтовщик, ишь ты, нашел себе милую. По ночам шляешься с нею? Не стоишь ты ее; пойди ко мне, девочка, ничего тебе делать с голяком. У меня денежки есть...

Его большая лапа схватила девушку за руку. Андрей Мерц оттолкнул его, поднял руку для удара. Девушка поспешно встала между ними.

— Не бейте его! Все это заранее подстроено, вас хотят вовлечь в драку,—беззвучно прошептала она.

Андрей Мерц овладел собою.

— Ступай домой, Ганс,—сказал он холодно и решительно,—проспись хорошенько.

Пьяный изумленно взглянул на него, что-то пробормотал и колеблющимися шагами отправился дальше.

— Видите,—зашептала девушка,—отец и это знал; я потому и не уходила от вас, потому и пошла с вами.

— Вы остерегли меня от большой глупости. Впредь буду осторожнее. А вы ступайте-ка домой.

Он пожал ей руку и смотрел ей вслед, пока ее стройная фигура не слилась с вечерней мглой.

На следующий день его вызвали в канцелярию и объявили об его увольнении.

* * *

Когда это известие дошло до копей, то все рабочие всполошились. Даже старики, покачивавшие головой, слушая речи Андрея, были возмущены. Мододежь угрожала и сыпала проклятиями.

— За то, что человек говорил правду...

— За то, что человек объяснил нам, что мы тоже люди...

— Разве мы собаки нашего хозяина?...

— Разве он смеет нас выбрасывать на улицу, когда ему вздумается?.

— Подлец...

— Мы не позволим отнять у нас нашего вожака...

Но над всеми этими словами и угрозами тяжким гнетом лежало сознание беспомощности.

Углекопы сидели в дымной, смрадной, низенькой зале местного кабачка; среди них было несколько женщин и между ними толстая Анулька и Руфь Штейнберг, дочка горбуна.

На несколько минут в комнате воцарилась глубокая, полная боли, тишина. Сквозь клубы дыма виднелись сверкающие гневом глаза. На грязных столах легли сжатые мозолистые кулаки.

Толстая Анулька нетерпеливо ерзала на своем стуле и, наконец, толкнула своего мужа в бок: — Скажи что-нибудь путное, Венцель.

Но Венцель молчал и задумчиво грыз свою трубку.

И вдруг из угла залы послышалось слово, пронизавшее подобно молнии все бессилие, всю нерешительность, всю печаль: з а б а с т о в к а!

Слово это звенело, звучало и раскатами раздавалось по всей комнате. Забастовка! Словно здесь уже не было беспомощных, безоружных, робких, придавленных людей; в руки им было дано оружие, и они крепко ухватились за него.

Забастовка,—это был ответ многих на увольнение одного.

И еще раз изумленным глазам Андрея Мерц представилось чудо: из самых разнообразных элементов, из единиц, различных по взглядам, по характеру и по возрасту, выросла сплоченная, неделимая единая масса, спаянная одним общим стремлением.

Следующие дни принесли Андрею Мерц новое откровение. Он узнал, что дело идет не о нем одном, что борьба будет вестись за право, за судьбу многих.

Слово родило дело—непобедимого, мощного гиганта.

Выбранные для переговоров с хозяином по делу Андрея вернулись ни с чем. Тогда из земли вышло серое чудовище: забастовка. Его дыхание парализовало всю окружающую жизнь, словно страшная эпидемия. В воздухе чудилась смерть. На этот раз среди рабочих не было желтых, никто не захотел повредить стачке.

В первый раз за все время хозяин уступил требованиям рабочих. Первая битва была выиграна. Теперь рабочие знали, что они м о г у т п о б е ж д а т ь. Узнали, что они уже не беззащитны, и им уже чудилось приближение дня, когда люди, разыгрывающие из себя хозяев и убежденные в своем

всемогуществе, будут дрожать перед рабами, перед забитым рабочим скотом.

По окончании забастовки углекопы с красным флагом прошли ко входу шахты. Ни один надсмотрщик, ни один полицейский не посмел воспрепятствовать этому.

Андрею Мерц вспомнился день, когда рабочие в первый раз опустились в шахту после неудачной забастовки. И он радостными глазами следил за движением рабочих, перед которыми при блеске восходящего солнца алело красное знамя. Разве это те же люди? Тогда ему мерещились на их руках тяжкие цепи... Теперь мимо него проходили властители мира, законные обладатели всех сокровищ земли.

Андрей закрыл глаза. У него кружилась голова. Перед ним раскрывалась не картина настоящего, полная борьбы и кровавой нужды, ему мерещилось прекрасное будущее, красота которого ослепляла его.

Тихий голосок прошептал ему на ухо: — Вы довольны, товарищ Мерц?

Он поднял голову. Перед ним стояла Руфь Штейнберг с влажными глазами, сияющими счастьем. Она была так молода, так свежа, так полна жизни, что ему показалось, будто перед ним стоит воплощенное будущее. Повинуясь внезапному влечению, он повернулся к девушке и крепко прижал ее к себе. Покорно, без сопротивления Руфь отдалась его объятию.

Молча прошли они, обнявшись, через пустынную улицу по направлению к домику горбуна.

* * *

Победоносная забастовка все же потребовала жертвы и даже такой, которая отнюдь не имела непосредственной связи с нею.

Однажды горбатого писаря позвали к хозяину. Последний принял его весьма немилостиво, взглянул на него сверху вниз, нахмурился и заговорил недовольным тоном:

— До сих пор мы были всегда довольны вами, Штейнберг, вы отлично исполняли ваши обязанности, у вас были здоровые, лойальные взгляды, мы вам доверяли...

Он сделал небольшую паузу.

Самуил Давид Штейнберг беспокойно вертелся на стуле. Он чувствовал, что краска заливает его щеки, что руки его

становятся влажными и холодными. Вот уже 35 лет, как он слышит этот властный голос, подчас снисходительно-дружеский, но чаще грубый, и до сих пор еще он без страха не научился слушать его.

Да, да,— начал хозяин,—как я уже вам сказал, мы были вами очень довольны. Тем печальнее, что один из членов вашей семьи, именно ваша дочь, открыто признает себя социалисткой и якшается с людьми, восстающими против закона и порядка. Мы слышали даже, что она обручена с зачинщиком всей смуты, Андреем Мерц, причинившим нам столько неприятностей. Вы, как служащий в нашей конторе, не должны были допустить до этого.

— Моя дочь — взрослый человек, господин Линке, она может поступать по собственному усмотрению.

— Но отцовский авторитет...

— Я не делаю рабов из моих детей.

Тон Штейнберга был резок. Господин Линке смотрел на него с нескрываемым изумлением.

— Но, ведь, вы должны понимать, что нам неприятно, если наш служащий породнится с этим буяном.

— Так я должен обращать внимание на чувства моих хозяев, а чувство моей дочери оставить без внимания?

— Но довольно было бы одного вашего слова. Ваша дочь вероятно, не пожелает навлечь на своего отца неприятности.

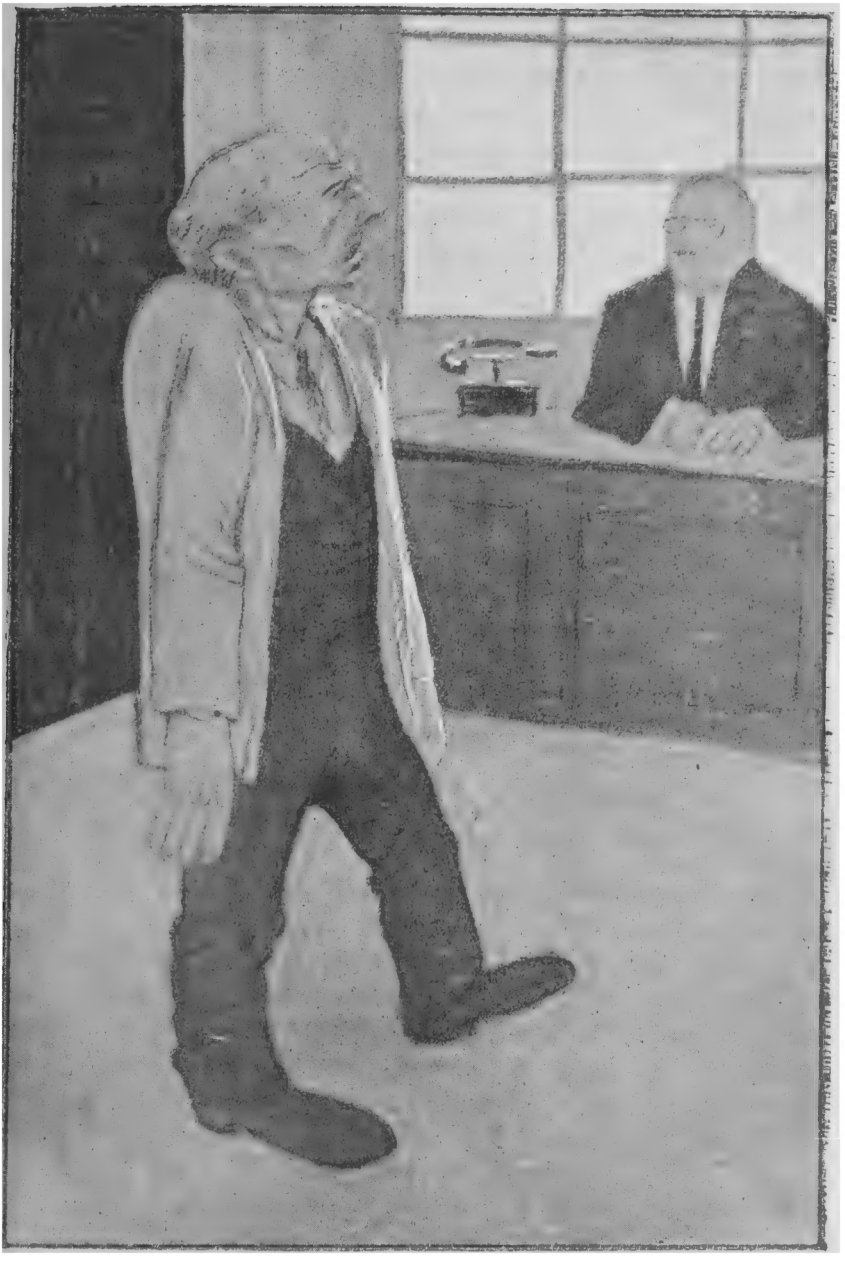
Господин Линке опять замолчал и внимательно смотрел на горбатого писаря, со щек которого сбежала яркая краска и заменилась смертельной бледностью.

— Я бы не хотел вас обижать,—заговорил хозяин неожиданно любезным тоном,—но, как я уже сказал, вы должны сами понять, что...

— Что только чувства хозяев должны приниматься во внимание. Да разве мы - ваш домашний скот, что вы нас скрещиваете по вашему усмотрению? Разве и тут у нас не может быть свободного выбора?

— Штейнберг, вы забываетесь!

— Напротив, я только теперь начинаю сознавать свое право. Я вспоминаю 35 лет бесконечной работы, в течение которых я действовал по вашей указке, мне предписывалось каждое мое слово, каждое мое движение. Я должен был вставать, когда входил хозяин, должен был почтительно



Принимаю мое увольнение к сведению...

улыбаться и даже громко хохотать над плоскими остротами хозяев, и выражать сильнейшее негодование, когда какой-нибудь бедняк рабочий требовал своих человеческих прав.

Знаете ли вы, что значит скрывать в течение тридцати пяти лет свой гнев, все свое негодование, все отвращение? Молчать целую вечность, дрожа за кусок хлеба? Я все это проделал. Больше не в состоянии терпеть. Вы разбили всю мою жизнь, а теперь принимаетесь за жизнь моих детей. Неужели я унижался для того, чтобы и мои дети были рабами?

Голос Штейнберга прервался, бешеный гнев не давал ему говорить.

Г. Линке побледнел.—Если так, то лучше будет, если вы подадите в отставку, мы не можем терпеть у себя в канцелярии бунтовщика и нахала.

Прежний страх опять охватил горбатого писаря. Вся его маленькая фигурка как-то съежилась; он втянул голову между плеч, с его дрожащих губ срывались неясные слова. Но взгляд его упал на высокомерную улыбку хозяина. Как он хорошо знал эту улыбку, как он ее ненавидел. За много лет эта улыбка врезалась ему в мозг.

Самуил Штейнберг выпрямился во весь свой маленький рост и таким же высокомерным взглядом ответил на взгляд хозяина.

— Принимаю мое увольнение к сведению.

Он коротко поклонился и ушел из канцелярии.

ГЛАВА XVII.

С тех пор, как Руфь стала женой Андрея Мерц, жизнь приняла для него особенный смысл, особенное значение. Руфь была так непохожа на других женщин и девушек, с которыми он встречался раньше, но именно это и привлекало его. Дочь горбатого писаря унаследовала от отца жажду знания; зато в ней не было его слабости, его вечного страха, явившегося результатом бесчисленных, нерадостных лет работы. Она смело поднимала свою маленькую головку, смело смотрела на мир своими ясными глазами, как будто всегда была готова к борьбе.

Иногда Андрей Мерц становился втупик перед ее изумительным инстинктом справедливости. Каждая несправедливость, содеянная другому, казалась ей близкой. Ее худенькое лицо бледнело, темные глаза загорались гневом. И Андрей, на которого семейный уют действовал умиротворяюще, иногда восставал против этого. Несколько лет борьбы утомили его, ему хотелось отдохнуть. Он проводил все свободное время дома около жены, любил сидеть около нее молча, раздумывая о своих делах, любил глядеть на нее и долго не мог привыкнуть к мысли, что он является обладателем этого ясного, милого существа.

— Ты начинаешь толстеть, Андрей,— сказала Руфь, сидя однажды вечером рядом с Андреем перед крыльцом своего дома.

Андрей оглядел свое длинное, худощавое тело, откинул рукав и вытянув перед глазами жены свою мускулистую руку, спросил ее:—Разве это рука толстяка?

Она рассмеялась.

— Не физически, милый, но нравственно. Ты стал ленив, всем доволен, сыт...

— Но, Руфь...

— Да,—перебила она.—Ты от всего держишься далеко. ты избегаешь борьбы.

— Потому что я не посещаю собраний и не говорю речей? Но я не хочу оставлять тебя одну.

— Я могла бы ходить с тобой.

Он любовным взглядом окинул ее пополневшую фигуру.

— Теперь, дорогая?

— Да, именно теперь. Ее голос немного задрожал.

— Именно теперь мне хочется слышать о лучшем будущем, мне хочется усилить уверенность, что мое дитя родится не для этого света несправедливости и насилия, что мой ребенок вырастет свободным, счастливым человеком.

Она замолчала на минуту, затем продолжала говорить точно про себя:—Ты не знаешь, Андрей, какой черный ужас охватывает меня, когда я думаю о новой жизни, зародившейся во мне. Я вижу перед собою пролетарских детей, бледных, больных, полуголодных, вижу мужчин и женщин приниженных, лишенных всяких прав. Неужели и моему ребенку выпадет такая же судьба?—Ее лицо побледнело, она судорожно заломила руки.—Я не понимаю женщин. Мы в муках рождаем детей, безмерно любим их, пока они малы, и все же терпим, когда у нас их отнимают, чтобы послать на фронт. Мы смотрим на наших маленьких сыновей, радуемся, когда видим прекрасное юное тело и знаем, что придет война и миллионы наших детей будут убиты для того, чтобы богатые имели еще больше золота. И мы молчим, смиряемся, рожаем рабов для господ, пушечное мясо для войн. Мне кажется, что если вы, мужчины, слишком тупы для того, чтобы вызвать революцию, то придется нам женщинам взяться за это дело.

Он изумленно смотрел на нее.

— Я думаю не об одном моем ребенке. Испытываемый мною страх мучает миллионы женщин во всех странах, во всем мире. Кто имеет право на революцию в такой мере, как мы, женщины? Разве мы не чувствуем, что делают с плотью от плоти нашей, с нашими детьми? Андрей, как это возможно, что существуют пролетарки, не чувствующие себя социалистками?

Он грустно улыбнулся.

Именно женщины и восстают против нас, дорогая; они находятся в тенетах церкви...

Замените чем нибудь церковь, Андрей. Вы просто не умеете обращаться с женщинами. Вы приходите к смертельно усталым, измученным женщинам со своими научными тезисами, с сухими изложениями и удивляетесь, что они бегут от вас в церковь, дающую им столь необходимую для украшения жизни пестроту, радость, музыку, цветы. Неужели ты думаешь, что женщина, имеющая семерых детей, всю свою жизнь проводящая в стряпне, в стирке и шитье, женщина, у которой от усталости дрожат колени, и голова не в состоянии работать, что нибудь поймет об историческом материализме? Но поговори с нею о ее детях, расскажи ей, что ее сыновья будут зарабатывать достаточно, чтобы пользоваться всеми благами жизни, и что ее дочери не будут больше домашним скотом,—тогда она будет слушать тебя и поймет тебя.

Она замолчала, положила свою руку на руку Андрея и опять заговорила:

— Андрей, Андрей, работы много, умы наших товарищей еще так темны; нужно дать им свет. И потому мне так невыносимо видеть тебя без дела.

Андрей густо покраснел. Ему стыдно было сознавать, что ее упреки справедливы. Она заметила это и ей захотелось загладить тягостное впечатление от ее слов. Смеясь, она прибавила:—У тебя буржуазные наклонности, Андрей: мой дом— мой мир.

Он не ответил на шутку. Крепко, до боли крепко сжал он ее руку, лежавшую у него на коленях.

— Эта опасность угрожает всем нам,—сказал он мрачно.— В каждом из нас сидит буржуй. Если нам хорошо живется, если счастье хоть немного улыбнется нам, буржуй сейчас же показывает свою подлую рожу. Мне не хватает твоего святого негодования, моя Руфь.

— Быть может, ваше стремление к довольству имеет некоторое объяснение в вашей религии,—возразила она.—Ваш Мессия уже пришел; это такое успокоительное чувство, вам незнакомо боязливое ожидание евреями пришествия Избавителя.

Андрей рассмеялся.

— Что за мысли приходят тебе в голову! Наш Мессия, наш красный Спаситель еще не пришел; его пришествие возвещают посланные им.

— Он пришел к своим, но они не приняли его,—заговорила она серьезно, повторяя слова евангелия.

— Потому что они его не узнали. В тот день, когда все угнетенные узнают своего избавителя, борьба окончится победой.

* * *

К рождеству Павел Леэр приехал на родину. Он приехал не один, с ним была молодая его жена. Андрею казалось, что Павел испытывал некоторую неловкость при встрече с ним, словно извинялся перед ним в чем-то. Он очень состарился за последние годы, имел усталый и печальный вид. Его молодая жена, просходившая, по ее собственному неоднократному заявлению, „из хорошей бюргерской семьи", повидимому, очень скучала в угольном районе. Павел Леэр хотел пробыть на родине неделю, но уступил настояниям своей жены и через четыре дня после приезда уехал обратно в столицу.

В первый день по приезде он пошел с женою и Андреем к маленькой хижине, в которой он когда-то родился.

— Взгляни, Гильдегарда, здесь жил мой дорогой старик.

Лицо молодой женщины выражало брезгливое удивление.

— Какой маленький домик!

Павел засмеялся:—Не все родятся во дворцах, дорогая.

— Да, он... такой жалкий... В ее голосе звучало презрение.—Возмущенным тоном она продолжала:—И все здесь так грязно, так запущено. Все люди выглядят как будто они никогда не моются.

Павел Леэр покраснел и беспомощно взглянул на Андрея. Андрей сухо ответил молодой женщине:—После смены в шахте, ваши тонкие белые ручки тоже были бы черны и грязны, сударыня.

Она презрительно улыбнулась:—Я? в шахте?..

— Раньше в шахте работали и женщины. Моя мать долго работала в подземной штольне.

Да, но...—Она запнулась, но Андрей угадал невысказанную ею мысль:—но ведь я не то, что эти люди; мой отец учитель в средней школе.

Андрей не решился вглянуть на Павла Леэр. Он чувствовал, как тяжело его другу слушать болтовню жены. Молодая женщина тоже заметила свою бестактность. Она с извиняющейся улыбкой обернулась к Андрею:—Я не хотеля вас обидеть, господин Мерц, но вы должны понять... Все это так ново для меня... Это совсем другой мир...

Да,—резко заговорил Павел Леэр,—это совсем другой мир. И нет моста, чтобы перекинуть между двумя разными мирами. Некоторые думают, что такой мост существует,—в сущности, ведь, все мы из одного теста слеплены,—но стоит только поставить ногу на узкую доску, ведущую через пропасть, сделать пару шагов, и доска ломается; а дурак, веривший в ее прочность, повисает в воздухе между двумя мирами над непроходимою пропастью и не может двинуться ни взад ни вперед.

Вечером накануне своего отъезда, Павел Леэр обратился к Андрею:—Пойдем в „Золотое Дерево".

— Но, Павел, ведь, это самый паршивый из всех наших кабачков!

— Да, и если бы у вас тут нашелся кабачок еще хуже, я бы его выбрал. Мне так хочется уйти подальше от этой гладкой сытой буржуазности, прячущей свою низость и пошлость под внешнею благопристойностью. Я хочу видеть настоящих пьяниц, забияк, хочу видеть девок, видеть людей, имеющих мужество быть тем, что они есть на самом деле, хочу видеть людей, не имеющих никаких высокопоставленных родственников среди учителей средней школы!

В кабачке Павел Леэр пил водку стакан за стаканом. Его бледное лицо покраснело, в равнодушных глазах вспыхнула жизнь. С него соскочила сдержанность, так смущавшая Андрея днем.

— Почему ты молчишь, Андрей, почему ты обращаешься со мною с состраданием, словно со старой бабой? Почему

ты не бросаешь мне в лицо, как другие: „Предатель, продажный раб буржуазии"!? Голос Павла Леэра дрожал от невысказанного страдания, от несказанной горечи.

— Почему ты бросил свою газету и перешел в буржуазную?—спросил Андрей Мерц.

— Ах, здесь уже знают об этом! Отсюда и холодный прием моих бывших друзей. И разумеется, все они говорят, что меня побудил к этому более высокий оклад, какая-нибудь грязная лишняя тысченка марок...

— Я никогда этому не верил, Павел. Конечно, я не совсем понимаю тебя, но...

— Ты ждешь объяснения? Изволь. Верь мне или не верь—дело твое. Но я все же должен оправдаться.

Павел Леэр снова наполнил свой стакан, тяжело вздохнул и заговорил тяжелым сдавленным голосом:—Бедный мой старик, он так любил меня, так заботился обо мне и все же он во всем виноват. Почему ему захотелось сделать меня „интеллигентом", оторвать меня от родной почвы?—Он вопросительно взглянул на Андрея.—Тебе это не повредило бы, Андрей, ты силен, ты повсюду и всегда остался бы тем, что ты есть на самом деле—революционером. Но я... На его лице отразилась брезгливость.—В прошлом году я попал в либеральный буржуазный кружок. Утомленный вечными партийными разговорами и мелочными раздорами, я радовался общению с людьми, имеющими кроме политики и другие интересы. И... ну да, я был для них каким то зверем, чем-то редкостным — социалист! Мне сдается, что дамы покашивались украдкой на мои карманы, опасаясь увидеть в них бомбу. В этом кружке нашлась пара вполне приличных людей—в этом и заключался корень моего несчастья. Мне приходилось слышать: „Господин Леэр, почему вы проповедуете ненависть и насилие? Мы ведь тоже желаем добра человечеству, но этого нужно или можно достигнуть путем мирного развития". А затем говорилось, что партии совершенно чужды друг другу, и что, узнав друг друга, они могли бы много добиться совместным трудом. „Вы, господин Леэр, могли бы, дескать, совершить в этом направлении большое дело".

Павел Леэр залпом проглотил стакан водки и обоими сжатыми кулаками ударил по столу.

Я был дураком и ослом, я попался на эти сладкие речи. Ты помнишь моего отца, Андрей? Он верил в любовь, мой бедный старик, во всепобеждающую, чудодейственную любовь. И его кровь заговорила во мне. Лучше было бы мне иметь отцом убийцу, нежели святого. Я начал верить в возможность примерения между классами. Тебе непонятно, как человек может поглупеть до такой степени? Теперь и я этого не понимаю, но тогда я был так утомлен борьбой, казавшейся мне безуспешной, мне так хотелось проложить новые пути. К этому примешались личные интересы. Я влюбился в мою теперешнюю жену. Несмотря на все это, я бы не поступил так, как мне пришлось поступить, если бы не был вполне убежден в справедливости моих новых взглядов. Ведь, ты веришь мне, Андрей?

— Да.

— Никто из вас не знает, каково буржуазное общество. Оно похоже на зыбкий песок; ты думаешь, что у тебя под ногами твердый грунт, а нога твоя уже ушла в песок. Ты смеешься: „Я, конечно, смогу освободиться в любой момент". Но зыбкий песок затягивает тебя все глубже и глубже; чем больше ты обороняешься, тем глубже он тебя засасывает. Тысячью щупальцев держит тебя осьминог буржуазии, каждая твоя слабость является для него лишней точкой опоры—твое честолюбие, твоя покладистость, твоя наглость... Если ему удалось тебя схватить, то пиши пропало—ты погиб.

— Пустяки, Павел, вырвись из объятий этого чудовища и возвращайся к нам.

— Для того, чтобы меня встретили пинками?—Он горько рассмеялся.—Нет, друг мой, я могу оказать вам одну, последнюю услугу: служить для вас назидательным, отталкивающим примером. А тебе, Андрей, я оставляю в наследство мои наблюдения, собранные за последнее время.

Он поднял глаза к потолку и заговорил медленно, словно взвешивая и подчеркивая каждое слово:—Скажи пролетарию, что если ему навстречу попадет кровожадный голодный тигр, то возможно, что он его пощадит; скажи ему, что он может спастись от бешеного натиска водопада, в который он упал, что ему удастся спастись из пылающего

Павел Леэр, бесчувственно пьяный сидел за столом и бормотал...

костра, но что на свете существует одна невозможная вещь: невозможно без насилия вырвать власть из рук буржуазии, невозможно без вооруженной борьбы захватить ее собственность. Скажи товарищам, чтобы они не давали реформистам одурачивать себя. Каждая партия, выдвигающая на первый план реформы, неизбежно должна погрязнуть в тине буржуазии и выделять из себя таких отщепенцев, каким сделался я. Пролетарская партия должна быть революционна, должна всемерно стремиться к достижению высшей цели — к господству пролетариата. Передай им все это, как последний завет умирающего. А теперь уйди; я хочу напиться, и мне бы не хотелось, чтобы ты присутствовал при этом. Ступай!

Когда Андрей, озабоченный настроением, в котором он оставил Павла, вернулся через час в кабак, Павел Леэр бесчувственно пьяный, сидел за столом и бормотал: „Революция... реформа... нелепость, насилие...“

На следующий день он с женою уехал из угольного района, и Андрей никогда больше не встречался с ним. Лишь однажды от него получилось письмо, в котором сквозило безграничное отчаяние слабого человека, лишенного силы вернуться на прежний путь. „Я занимаю высокое положение,—писал он, — хотя люди, составляющие мой круг, учителя средней школы и прочая буржуазная сволочь, считают меня немного помешанным. Только мои прежние товарищи отплевываются от меня, но далеко не с таким отвращением, с каким я сам отплевываюсь от себя.“ Через пять лет, когда второму сынишке Андрея Мерц минуло четыре года, получилось еще одно письмо от Павла Леэр.

„Ты имел мужество назвать твоего мальчика моим именем,—это радует и умиляет меня, я вижу в этом некоторый символ искупления (впрочем, может быть, это предрассудок пьяницы). Твой Павел, вероятно, будет тем, чем я должен был сделаться. Вытрави из его души глупую сентиментальность, внуши ему, что классовая борьба—не bataille de fleurs, и бывают времена, когда сострадание и жалость к врагу равносильно преступлению“.

Спустя два месяца после этого письма Павел Леэр застрелился. Самая крупная из буржуазных газет поместила его некролог, в котором называла его своим „уважаемым

талантливым сотрудником", и отметила, что „к сожалению, он за последнее время совершенно отказался от общественной деятельности".

Андрей Мерц горевал о погибшем друге, не о том Павле Леэр, прах которого покоился в фамильном склепе учителя средней школы, но о друге своей юности, которого засосал зыбучий песок.

ГЛАВА XVIII.

Прошли года, целый ряд однообразных лет, едва отличающихся друг от друга. Тяжелая работа в шахте, такая же тяжелая работа среди пролетарского движения. В угольном районе не было ярких вспышек, не было молниеносных выступлений, после которых безнадежная тьма кажется еще более непроницаемой и печальной. И все же свет пробивался, медленно, постепенно, с усилиями преодолевая все препятствия. Еще не все умы просветлели, не все глаза прозрели, ночные тени еще омрачали сознание. Но чувствовалось приближение рассвета. Христианский союз с каждым днем терял своих членов, тогда как численность партии постепенно увеличивалась. Владелец рудника, вначале отказывавшийся принимать на работу организованных рабочих, вынужден был подчиниться. Но в этой победе рабочего класса заключалась опасность для него самого. Убийственный яд самоунижения и способности удовлетворяться малым, влитый веками угнетения, все еще отравлял души. Маленькое повышение заработной платы, немного более человеческая обстановка уже казались рабочим пределами достижения. В особенности это относилось к старым углекопам, помнившим тяжелые времена. Они были готовы сдаться и считали молодежь, требовавшую большего, смутьянами.

Иногда Андрею Мерц казалось, что он головою пытается пробить каменную стену.

— Здешняя жизнь похожа на тенистый пруд,—жаловался он Руфи,—все гниет в стоячей воде. Никакая буря не может всколыхнуть эти воды.

Францишек, прозванный Андреем „нашей бурей", каждую весну появлялся в угольном районе. Загоревший под лучами

южного солнца, с головой, полной новых картин и впечатлений, молодой чех проносился по угольному району, подобно мартовскому ветру, взбаламучивал все мысли и сердца, осмеивал предрассудки и устаревшие взгляды, и своими смелыми словами словно открывал рабочим широкие ворота в неизведанный, новый мир. Он говорил о надеждах и чаяниях пролетариата всех стран, передавал содержание слышанных им в Париже речей Жореса, рассказывал о своем разговоре с Деббсом в Америке, о своем знакомстве с Феррера в Испании. Он смеялся над мрачным, безнадежным настроением Андрея.

— Чему быть, тому не миновать, Андрей! Ничто не может задержать победного шествия революции, ни оружие буржуазии, ни буржуазный образ мысли некоторых рабочих. Что сделали русские после 1905 года? Сложили ручки и начали причитать? Нет, они снова начали организовываться и повели широкую пропаганду. Немецкий рабочий еще дремлет, о его пробуждении позаботится буржуазия и юнкерство, в этом можешь быть уверен. Следите за тем, чтобы пролетариат не слишком долго протирал глаза после долгого сна.

Приезд дяди Францишка был всегда настоящим праздником для маленьких сыновей Андрея Мерц. Чех рассказывал им чудесные истории, пел песни всевозможных чужих народов, аккомпанируя себе на гармонии. Андрей внимательно наблюдал своих мальчиков и изумлялся их противоположности. Старший высокий, стройный 15-ти летний мальчик с бледным лицом и большими темными глазами был задумчив, углублен в себя, мягкосердечен до крайности. Будучи ребенком, он плакал, когда его товарищи отрывали майским жукам лапки и избегал вида страдания. Иногда чья-нибудь явная несправедливость выводила его из себя, тогда он бесновался, приходил в исступление и совершенно не помнил, что с ним творится. После таких вспышек гнева, он опять уходил в себя, становился молчаливым и замкнутым. Его отдали в учение к столяру, он мечтал сделаться краснодеревцем, производить красивые, изящные вещи. Охотнее всего он слушал, когда Францишек рассказывал о красоте чужих стран, о сверкающих морях, дивных цветах, чудных зданиях. Павел был на два года моложе брата. Больше всего в мире его интересовала борьба; он осаждал чеха

вопросами о руководителях рабочего движения в разных странах, о тактике партии и т. д. Коренастый, плотный, весь живущий в мире реальности, он был полною противоположностью своему брату; и только страстная любовь к справедливости составляла общую им обоим черту. Только у Павла эта любовь к справедливости вызвала непримиримую жестокость, непоколебимую твердость. Ничто не казалось ему невозможным; то, что он считал своим правом, ревниво и бережно охранялось им. Ему незнакомы были стихийные вспышки гнева старшего брата, он всегда умел владеть собою, только смертельная бледность его щек и вздутые жилы на лбу говорили о его внутренних переживаниях. Хотя он был моложе Эрнста, но он взял на себя роль охранителя своего брата, оберегал последнего от страданий и боли. Руфь Мерц однажды слышала разговор между обоими своими сыновьями, разговор, давший ей разгадку характеров обоих братьев.

Эрнст увидел, как взрослый парень жестоко бил маленького мальчика. В исступлении он бросился на нападающего, обеими руками сдавил ему горло и едва не задушил. Павлу с трудом удалось оторвать брата от задыхавшегося и уже хрипящего парня. Эрнст лежал на земле, всхлипывая, с бледными дрожащими губами и со сведенными судорогой руками, и стонал:

— Я чуть не убил его! Павел. Павел, какой я дрянной человек! Я едва не убил ближнего своего.

Павел кивнул головой и сказал трезвым успокоительным голосом:—Да, ведь, он не умер!

— Но убивать, отнимать от человека драгоценнейший дар—жизнь, ведь это—непростительный грех.

— Это зависит от того, кого и за что убил,—сухо возразил Павел.

Эрнст присел на землю и уставился на брата широко раскрытыми глазами:—Что?... Как ты сказал?

— Когда кто-нибудь заслуживает смерти, когда его жизнь вредна другим, то его следует убивать,—смело ответил Павел.—Но, конечно, это нужно делать не в гневе, а по зрелом размышлении.

— А святость человеческой жизни?

— Это все глупая болтовня. Ведь, не можешь-же ты серьезно думать, что жизнь человека, угнетающего других, следует считать святою...

— Однако...

Это детская сентиментальность: приносить в жертву тысячи, чтобы пощадить одного.

Да, но сознание, что ты убийца...

— Твои личные чувства не играют никакой роли; все дело в цели.

Ты бы мог пойти в солдаты, убивать на войне врагов?

— Нет, потому что там мне пришлось бы убивать братьев. Но если бы мы, пролетарии, имели собственное войско для защиты наших прав и нашей свободы, я бы, конечно, вступил в его ряды.

— Я тебя не понимаю.

— Потому что ты вечно витаешь в облаках и спускаешься на землю только тогда, когда чувствуешь приливы гнева. Взгляни на вещи трезво, перестань мечтать, тряпка!—Он любовно погладил взлохмаченную голову брата.—Теперь вставай, встряхни с себя пыль и пойдем обедать; это лучшее, что ты можешь сделать.

Андрей Мерц любил обоих своих сыновей, но некоторую слабость он все же чувствовал к своему старшему сыну, казавшемуся ему более слабым и более нуждающимся в защите, чем Павел. Он понимал тяжелые, колеблющиеся настроения своего старшего мальчика; они напоминали ему его собственную молодость. Он охотно избавил бы сына от всяких испытаний, но Руфь держалась другого мнения.

— В наши дни не нужны мечтатели и проповедники милосердия,—говорила она,—позднее, когда победа будет одержана, найдется место и для подобных людей, но теперь им не место среди нас.

И все-таки, когда Эрнста взяли на военную службу, она заперлась в своей комнате и горько рыдала. Она отлично знала, чем будет эта жизнь для ее сына, знала, как несказанно сильно он будет страдать от нее. Эрнст писал домой отчаянные письма; ему казалось, что он утратил свое человеческое достоинство, его сводила с ума эта бессмысленная муштровка и обращение офицеров и унтер-офицеров.

„Когда я подумаю, что нас систематически обучают убийству, меня охватывает холодный ужас; я едва могу держать ружье в руке. И как это все бессмысленно. Если бы человека, упражняющегося в стрельбе, спросили: „что ты делаешь?“ и услышали бы в ответ: „я учусь убивать людей,“—его приняли бы за сумасшедшего или, как преступника, посадили бы в исправительное заведение. А здесь этим занимаются тысячи людей, и все находят, что это в порядке вещей.“

— Почему он пишет об этом нам?—спросил Павел с плохо скрываемой досадой.—Мы это знаем и без него. Ему следовало бы говорить об этом своим товарищам.—Тем не менее ему от души жаль было брата, и он считал недели, отделяющие Эрнста от освобождения.

Жаркие летние дни следовали один за другим. На всех полях созревший хлеб ждал жнецов. Однажды Павел работал вместе с отцом в маленьком огороде. Руфь сидела на скамеечке перед домом с шитьем в руках.

— Через пять недель Эрнст вернется домой,—воскликнул Павел, проходя мимо матери, и Руфь радостно кивнула головой:—мой милый мальчик, он и сам, вероятно, считает дни.

— Пять недель скоро пройдут,—послышался голос Андрея Мерц,—что такое пять недель?

* *

Пять недель спустя Эрнст Мерц со своим полком переходил бельгийскую границу.

ГЛАВА XIX.

Эрнст писал домой несколько раз коротенькие открытки, на которых дрожащим почерком бывало написано: „Я жив, не ранен и шлю вам привет". Письма приходили в течение первых двух месяцев, затем известия прекратились. Тяжелая грусть лежала над домом Андрея Мерц, грусть не только о погибшем сыне, но и о крушении всего того, что им казалось несокрушимым. Даже Павел ходил, как оглушенный в течение нескольких недель, затем как-то вечером он шепнул матери:

— Теперь нужно усиленно работать, мать. Слепую ненависть, которую все питают против творящих несправедливость, нужно использовать, она должна быть направлена против тех, кто ее заслуживает. Помоги мне встряхнуть отца. Он молчит, не поднимает голоса против постыдной политики партии и целиком ушел в свое горе. Как раз теперь нам нужны все наличные силы.

Она с любовью взглянула на него.—Это опасная работа, Павел.

Он с тревогой в голосе спросил ее:—Ты ведь не будешь меня удерживать, мама? Из страха...

— Нет, голубчик, но будь осторожен ради великого дела и хотя бы отчасти из любви ко мне. Не забывай, что у меня остался только один сын и что я—только человек.

Он смущенно засмеялся, стараясь скрыть охватившую его радость.—Ох уж эти женщины! Знаешь-ли, я не верю, что Эрнст убит.

Он не был убит. В мрачную, бурную ноябрьскую ночь, он вернулся домой, как затравленный зверь, полубезумный от ужаса. Лицо его было бело, как мел, и искажено, глаза

налиты кровью, военный мундир висел клочьями, был весь загажен. Он открыл дверь в кухню, неверными шагами вошел, и кашляя, и задыхаясь повторял одни и те же слова:

— Спрячьте меня! спрячьте меня! Я не хочу возвращаться! не хочу! не хочу!

Они спрятали его в погребе, устроили ему там постель, а перед дверью поставили ящики и бочки. Он не произносил ни слова, лежал, дрожа всеми членами и глядя перед собою широко раскрытыми, полными ужаса глазами.

Только когда Руфь хотела погасить свечку, он закричал:— Нет, нет, я боюсь темноты, мимо меня ходят тени, я слышу трупный запах,—он заплакал, как ребенок, и стал умолять мать,—не гаси свечку, мама, не гаси.

Под утро он заснул глубоким сном и проснулся только к вечеру. Теперь он говорил беспрерывно, бессвязно, голос его то опускался до едва уловимого шопота, то поднимался до истерического крика. Андрей Мерц и Руфь с ужасом прислушивались к его словам.

— Это ад, мама... знаешь ли ты, что это такое? Трупы... трупы... в воздухе носится смерть... перед тобою, рядом с тобою падают убитые люди. Они только что жили, были людьми и в один момент превращаются в нечто окаменевшее, никому не нужное, что на следующий день пожирают вороны... Нам дали в руки оружие и сказали, что мы должны убивать. Убивать... Ты знаешь, мама, что я никогда не мог убить даже зверя, а тут я должен был убивать людей, своих ближних... Сначала я не хотел стрелять, но солдат, стоявший рядом со мной и жаждавший убийства, пожаловался на меня офицеру... тогда мне пришлось стрелять... я закрывал глаза... но, быть может, все-же какая нибудь пуля попала в человека. Мама...

Он закрыл лицо руками и тихо заплакал. Руфь обняла его и пыталась успокоить. Павел, смертельно бледный, с сжатыми кулаками стоял у постели брата, глотая душившие его жаркие, гневные слезы. Так вот как велика власть господ! Они отрывают нежного, любящего, кроткого человека от мирного занятия и принуждают его делаться убийцей. Ему пришел на память сияющий весенний день, когда Эрнст стоял на лугу и, протягивая вперед руки, громким голосом восклицал: „Как прекрасен мир! И отец говорит,

что настанет день, когда он будет прекрасен для всех. Мы все должны стремиться внести в жизнь людей красоту и счастье!"

Принести людям красоту и счастье! Вместо этого его послали к людям со штыком приносить смерть и отчаяние,— бедный Эрнст! „Пока я жив, я буду бороться против этих людей", поклялся Павел. „Я буду к ним безжалостен, так же, как они были безжалостны к тебе, брат, к вам, братья"!

Эрнст вскочил и дико озирался вокруг себя.—Павел, где Павел?

Он схватил брата за руку.- Ты еще не убивал, Павел? Никогда не делай этого. Если они тебя заставят, беги от них, отруби себе руку, но не иди с ними. Ты не знаешь, какой это ужас... Трупы... трупы... А офицеры смеются и шутят...

Он наклонился и боязливо зашептал:—Вы знаете, ведь, офицеры—не люди, а потому и мы не можем быть людьми. Им нужны машины, исполняющие их приказы, убивающие по приказу, поджигающие дома, стреляющие по женщинам и детям... Судорожная дрожь прошла по его телу.

— Когда же офицеры вернутся домой, опьяненные кровью, они захотят еще крови. Они заставят нас стрелять в своих, в наших отцов и братьев. Трупы... Трупы...

— Пока они сами не превратятся в трупы,—хмуро проворчал Павел.

Эрнст растерянно взглянул на брата.

— Они? Нет, от них нет никакого спасения... Они найдут и меня, уведут, опять заставят убивать. Спрячьте меня! Спрячьте меня —истерически кричал он.

— Успокойся, успокойся,—уговаривал сына Андрей Мерц.

— Они не найдут тебя, дитя мое. Успокойся, постарайся заснуть.

Прошли три мучительных дня. Руфь испуганно вздрагивала, когда слышала у порога чужие шаги; смертельный страх терзал ее сердце. Утром на четвертый день Анулька Прихода постучала в кухонное окно. Она еще больше растолстела, и ноги едва таскали ее грузное тело. Она почти никогда не выходила из дому и долгими часами сидела на скамеечке около своего дома с вечным вязаньем в руках. Если она решилась проделать такой далекий путь, на это должны были быть серьезные причины. Ужас ледяным коль-

цом сковал сердце Руфи, ее колени подгибались, руки дрожали, когда она отворила дверь.

Анулька тяжело опустилась на стул, едва переводя дыхание, и начала говорить:

— Люди говорят, что ваш сын скрывается, что он дезертир. Я ничего не хочу знать об этом, Руфь, но будьте осторожны.

Смертельно бледное лицо Руфи противоречило ее уверениям, что Эрнста в доме нет.

— Не пугайся, душенька. От меня никто ничего не узнает. Товарищи тоже будут молчать. Но чернорясник, поп, что-то пронюхал. Он был сегодня у меня, выспрашивал. Я сказала ему, что Эрнст в Бельгии, и что на прошлой неделе вы получили от него письмо. Я поклялась ему в этом спасением моей души, но он не поверил мне, да пошлет ему, проклятому негодяю, святая матерь божья костоеду!

Она передразнила елейный голос священника: „Если вы что нибудь знаете об этом, милая моя, то вы обязаны сообщить об этом полиции. Кто покидает отечество в минуту опасности, тот негодяй и не заслуживает никакого сострадания. Я бы сам пошел на войну, если бы мне не препятствовало мое святое призвание". Я сказала ему: „Конечно, господин патер, конечно, ваше преподобие правы". А сама про себя подумала: „Ты меня называешь милой женщиной, собака, свинья ты этакая, чтобы я предала своих друзей,—кукиш с маслом тебе, грязный поп!". Но все-таки будь осторожна, Руфь, он ненавидит твоего мужа, потому что он увел с собою из христианского союза многих товарищей.

Руфь растерянно смотрела на Анульку.—Что нам делать? Что нам делать?

— На будущей неделе я уезжаю домой. Не можем ли мы его увезти в мешке, под моими платьями? Венцель снесет мешок на вокзал. Но пять дней вам придется прождать. Францишек тоже попался, он писал мне из Швейцарии.

Руфь хотела излить свою благодарность толстой чешке.

— Глупости, если мы не будем держаться вместе в нашей борьбе против господ, то мы все наверное погибнем. Я бы с удовольствием разбила бритую макушку нашего попа, чорт бы его взял.—Она понизила голос и шопотом продолжала:— „Говорят, что сын тетки Матциг тоже вернулся; поп и о нем

спрашивал. Но Анулька умеет врать. Я ему сказала, что бедняга лежит в лазарете с отрезанной ногой. Он понял, что инвалиду не зачем бежать.

После ухода Анульки силы совершенно оставили Руфь. До сих пор она была самой сильной из всех, успокаивала полусумасшедшего сына, утешала Андрея, усмиряла гнев Павла. А теперь ей казалось, что кругом воцарился ужас и мрак. А что, если за ним придут? А что, если его найдут?... Ее охватило возмущение. Разве он вещь, которую можно утащить в любой момент? Ведь он живой человек, имеющий право сказать: „Я не хочу никого убивать". Что сделали для него люди, требующие теперь от него душу и тело? Они давали ему скудно оплачиваемую работу и под конец учили его убивать своих братьев. А она, Руфь, носившая, родившая и выкормившая его, воспитавшая его с невыразимою любовью, испытывая все время лишения и во всем себе отказывая, разве она не имела прав на своего сына? Неужели кто-нибудь, одетый в блестящую форму, посмеет взять от нее Эрнста, плоть от плоти ее, и поставить его под пушечные выстрелы? Неужели таков новый мир, для которого она предназначала своих детей? В чем мы ошиблись? Чего мы не предусмотрели? Что могло бы уничтожить эту страшную несправедливость? Пролетариат всего мира, женщины и матери всего мира должны помочь уничтожению этого зла! Почему мы до сих пор не узрели настоящей истины: пока власть находится не в наших руках, мы всегда будем жертвами злой воли меньшинства! Почему мы не стремились каждым своим словом, каждым своим движением, каждым вздохом к разрушению старого мира и к созданию нового? Наша постыдная слабость является основой могущества этих немногих. Мы боялись борьбы, а наши сыновья принесены в жертву кровавому богу войны. Мы щадили их жизнь, теперь же во всем мире льется кровь пролетариата.

Ее охватило отчаяние; она не смела итти в погреб, боясь, чтобы Эрнст не прочел правды на ее лице. Андрей и Павел были в шахте и вернулись только к обеду. В ожидании их Руфь все время подходила к окну, боясь, что в их отсутствие случится непоправимое.

Когда Андрей с сыном пришли, она сообщила им о посещении Анульки. Андрей молча схватил ее за руку, словно

ища в ней поддержки. Павел промолвил своим стальным голосом:—Я скорее собственоручно застрелю его, чем отдам им в руки.

— Только пусть Эрнст ничего не знает,—умоляла Руфь. Со вчерашнего дня, он как будто успокоился.

Они пошли в погреб, притворяясь спокойными и веселыми. Но Андрей долго не мог выдержать своей роли. Он ушел в своей маленький огород и стал колоть дрова.

На землю спустились сумерки. Павел ушел в деревню. Руфь, оставив спящего Эрнста, что-то стряпала в кухне. И вдруг увидела в окно три фигуры, три неясных силуэта, направлявшиеся к их дому. На одном из силуэтов была длинная черная одежда... Да, это был священник. Двое остальных... Что-то блестело на их одежде... Жандармы!

Руфь бросилась в сад.

— Андрей, они идут, оставайся здесь, продолжай колоть дрова, это внушает доверие. И не раздражай их, будь вежлив.

Она поспешила обратно к кухне и наскоро стала растапливать плиту.

Трое посторонних вошли в сад.

Андрей Мерц снял фуражку; ему казалось, что руки его налились свинцом, и он с усилием поднял голову. С трудом ворочая языком, не повиновавшимся ему, он пробормотал:

— Добрый вечер.

Он слышал голос Руфи, напевавший веселую песенку. Холодный ужас пронизал его,—как Руфь могла найти в себе силы так притворяться?

Священник и двое жандармов, обменявшись с Андреем несколькими словами, вошли в дом. Андрей хотел итти вместе с ними, но ноги его точно приросли к земле, и он со стоном опустился на скамейку. Сердце его билось так сильно, что ему казалось, будто гигантский колокол звучит у него в ушах. Перед глазами мелькали огненные круги.

Руфь приняла незванных и нежеланных гостей с полным спокойствием.

— Мой сын Эрнст, господин патер? Он в Бельгии, я на прошлой неделе получила от него открытку. Жаль что не могу показать ее, я послала ее своему отцу, старик так любит мальчика.

Андрей слышал ее спокойный, ровный голос; может быть, опасность не была так велика, иначе, как бы она могла выказывать такое спокойствие? Ему послышался скрипучий голос одного из жандармов:—Обыскать дом...

И спокойный ответ Руфи:—Пожалуйста.

Потом все стихло. Андрей ждал.

Ждал, как приговоренный к смерти. Ему послышалось, что в доме говорят повышенным тоном; он испугался... Неужели они его нашли?... Потом опять наступила тишина. Послышались шаги по лестнице, ведущей на чердак. Спускались ли они в погреб?... Миновала ли опасность? Или они начали обыск сверху?

Подошел Павел. Андрей сдавленным голосом прошептал: Они там. Пойди, помоги матери.

А ты?

— Я останусь здесь, если я пойду туда, они сразу узнают правду. Я весь дрожу.

Павел подбежал к двери. Из дому послышался раздирающий душу голос:—Мама! Мама!

— Они нашли его, неестественно спокойным тоном произнес Павел.—Не застрелить ли мне его, когда они его поведут мимо меня?

— Нет, Павел, нет. Они, ведь, увидят, что он болен, что он почти сумасшедший. Они сжалятся над ним. Павел, ты не должен...

Послышался топот тяжелых шагов. Между двумя жандармами, пошатываясь, шел Эрнст с закованными руками. Он шел, точно во сне; его глаза были устремлены вдаль, но казалось, что он ничего не видит, его лицо имело пепельно-серый оттенок. Шествие заключал священник. У дверей Павел натолкнулся на мать и едва успел принять падающую женщину в свои объятия.

Священник остановился перед Андреем, державшим топор в судорожно-сжатой руке. Он не слышал слов священника. До его уха доносились отдельные слова... „Немец, любящий свое отечество“... Андрей громко рассмеялся. Затем он услышал, что священник обратился к жандармам, и его слова дошли до сознания Андрея:

— Это не единственный, забывший честь дезертир. Мы

Между двумя жандармами, пошатываясь, шел Эрнст с закованными руками...

должны пройти на другой конец деревни, потому что сын тетки...

Он не произнес имени, не успел произнести его на земле и, вероятно, не сможет произнести его в вечности. Безумная мысль мелькнула в потрясенном уме Андрея. Неужели чернояснику недостаточно одной жертвы? Ведь, юноша, стоявший на дворе между двумя жандармами со скованными руками, был уже потерян для жизни, был полумертв. Но другой сын, о котором заикнулся поп, еще жив, еще сможет спастись, если он, Андрей, помешает попу произнести его имя. Сын, безразлично, чей сын... Он должен быть спасен...

Сильная, привыкшая к тяжелой работе, рука Андрея поднялась, и топор со свистом упал на голову священника.

Андрей Мерц увидел, что к ногам его упало что-то черное, услышал крик Руфи: „Андрей", почувствовал, что сильные руки Павла обняли его.

Он сделал шаг вперед, спокойно сказал:—Я спас его,—и истерически зарыдал.

ГЛАВА XX.

Андрей Мерц осмотрелся в своей камере. Через решетчатое окно падал косой луч солнца и рисовал блестящие, золотые круги на пыльном полу. Андрей пристально смотрел на эти рисунки; в его отуманенном мозгу всплывали какие-то неясные воспоминания, он громко проговорил:— Солнце, свет.

Эти слова, первые слова, произнесенные Андреем с момента его ареста, словно прорвали плотину, задерживавшую бег его мыслей; воспоминания бурною волною хлынули на него и грозили затопить. Сначала это были сбивчивые, смутные, несвязные мысли, в которых он не мог разобраться. Эти мысли, эти воспоминания причиняли ему острую физическую боль, и Андрей отгонял их от себя, как утопающий последним усилием пытается оттолкнуть от себя заливающие его волны. Ему казалось, что если он не выяснит хоть одну совершенно отчетливую мысль, то поток этот увлечет его за собой в пропасть.

Что случилось? как это случилось?

Что-то черное с седеющим окровавленным черепом лежало у его ног. Какое-то недосказанное слово, какое-то имя дрожало в воздухе и тяжелым свинцовым грузом упало ему на сердце. Кто-то громко оклинул его по имени. Кто это был, Руфь? да, Руфь. Почему она была так бледна, так расстроена? И кто это стоял у ворот сада, между двумя жандармами, со скованными руками? Его сын? Ах нет, его сын, ведь, убит, они его расстреляли. Но кто-то там стоял, связанный, беззащитный. Человек? Нет, все человечество, воплощенное в одном человеке. Он, Андрей Мерц, хотел спасти его, хотел разорвать его узы...

Потом кто-то засмеялся, так громко, так ужасно засмеялся; кто бы это мог быть? Это не Руфь,—она плакала, и не Павел—тот все время спокойно повторял: „Успокойся, отец, успокойся". Может быть он сам?

Благодетельная ночь распустила над ним свои крылья. Все было черно перед его глазами, в его мозгу, в его сердце. Черно, как подземная шахта...

Большой светлый зал. На возвышении сидят люди в длинных черных одеждах, Андрей стоит междя двумя жандармами. Почему? разве он тоже дезертир? Встает какой-то чужой человек. Где он с ним встречался? Где он видел это лицо с заостренными чертами, эти темные глаза, полузакрытые очками? Этот человек говорит, упоминает какого то обвиняемого и при этом указывает на него. Разве он, Андрей Мерц, обвиняемый? В чем же его обвиняют? В освобождении человечества? Разве это преступление. Человек в очках, повидимому, дружески расположен к нему, он так хорошо говорит о нем, пытается что-то объяснить черным людям, сидящим на возвышении, краснеет и сердится, что они его не понимают и не хотят понять. Но зачем он так много говорит. Ему следовало бы только сказать: „Андрей Мерц увидел скованного человека; долг каждого человека повелевает ему освобождать скованных людей. Андрей Мерц только исполнил свой долг". Разумеется, тогда бы люди поняли его.

Сверху упало слово: „убийство".

Андрей Мерц прислушался. Убийство? Разве они убили скованного человека, беззащитного?

Человек в очках гневается, его голос повышается, он мечет громы и молнии в черных людей, но те остаются непреклонны.

Что все это значит?

Андрей Мерц неясно чувствует, что перед ним происходит жестокая борьба. Но ради чего она происходит? И почему человек в очках оказывается его другом? Почему другие, все другие кажутся его врагами?

Он напрягает все усилия, чтобы понять; но опять его заливают черные волны воспоминаний и смывают всякий проблеск ясной мысли. Он закрывает глаза, смутно различает голоса, но не реагирует на них, не понимает их.

Ему кажется, что прошли часы, дни, годы... Он не может точно установить, сколько времени прошло. В большом зале зажглись огни. Человек в очках отирает пот со лба, он бледен, выглядит таким старым и усталым.

Мертвая тишина. Зловещее напряжение чувствуется в воздухе. Андрею Мерц кажется, что кругом раздаются вздохи. Кто это так тяжело вздыхает? Чего ждут все эти люди?

Черный человек произносит слова: „смертный приговор... помилование... заменяется...“ По залу проносится вздох облегчения. Андрей Мерц скорее чувствует, чем видит, что на него обращены сотни глаз. Еще раз напряжение поглощает всякий звук.

В тишине на толпу падают два слова, тяжелые и холодные, как ледяные глыбы:

„Пожизненное заключение“.

Слышится женский вопль. Кто это кричит? Руфь? Почему, же она кричит? И в мозгу сразу кристаллизуется ясная, до ужаса отчетливая мысль: человек приговорен к пожизненному заключению и этот человек—он, Андрей Мерц.

Но почему же эта женщина так громко вскрикнула? Почему же на весь зал раздаются чьи-то рыдания? Разве они приговорили его к чему-то, что не было ему предназначено с самого момента его рождения? Разве он не прожил всю свою жизнь в тюрьме бедности? Разве для пролетария весь свет не представляется тюрьмою, местом заключения? Разве вся жизнь его не проходит между двумя жандармами? Тут не нужны слезы, не нужны крики, тут нужно другое...

Человек в очках подходит к нему, говорит с ним тихим, задушевным голосом. У него в глазах стоят настоящие слезы и голос его дрожит от волнения. Андрей ощущает потребность утешить человека в очках, своего доселе незнакомого друга, он протягивает ему руку и говорит: „Это ничего“.

Человек в очках изумленно глядит на него, до боли крепко сжимает протянутую руку и задыхающимся голосом произносит: „Вы—герой“.

Андрей смеется. Герой! Кто достоин называться героем, пока существует старый мир, это чудовищная тюрьма, пока существуют на свете скованные люди?

Затем в его объятия падает Руфь; она плачет жалкими бессильными слезами. Такою он никогда еще ее не видел. Он целует ее залитое слезами лицо, гладит ее мягкие волосы Рядом стоит Павел, бледный с жестоким выражением своих стальных глаз. „Мы тебя вызволим, отец," говорит он „скоро".

Андрей Мерц с довольным видом кивает головой: он это знает. Придет день, когда тюрьмы откроются, и весь народ, скованный по рукам и ногам, будет освобожден от своих цепей.

Все последующее кажется ему тяжелым сном, от которого он пробудился только сегодня. Он кладет мозолистую руку на горящий лоб, смотрит на солнечные блики, мерцающие на полу, пока из всех углов не выступают тени, поглощающие свет.

* * *

Значит это была тюрьма. Кругом царила тишина, такая холодная, такая жуткая тишина. Точно в комнате умирающег о. И все же в этих стенах жили люди, дышали, стремились к свободе. Странно, почему их стремления громким криком не вырываются сквозь камни, странно, что их желания недостаточно сильны, чтобы выломать эти двери. Что знают люди о своих соседях? Чувствуют ли они, что их связывает общее страдание? Кто сидит рядом с ним, в соседней камере? Давно-ли они пришли сюда, бурлит ли еще в них дикий гнев и жажда свободы, или они здесь находятся так давно, что в них притупилось всякое чувство?

Андрей Мерц сделал несколько шагов—раз, два, три, на четвертом он натолкнулся на стену. Он горько рассмеялся. Значит враги могут нам предписывать даже количество шагов, которые мы имеем право делать в тюрьме. Может быть им удастся предписать количество мыслей, роящихся в нашем мозгу? Правда, количество шагов было ими предусмотрено для нас и на свободе, мы, ведь, всегда жили в указанных границах. Там, где начиналась свобода, жизнь и счастье, там они воздвигали стену, о которую мы разбивали свои головы. И мы сами, наше проклятое терпение носило камни для постройки этой тюрьмы. Четыре шага—это немного, но разве раньше мы пользовались широкой свободой?

Свобода была достоянием немногих, их шаги не учитывались, на них не было цепей, а мы так терпеливо носили наши оковы. Свобода немногих является результатом чересчур большого снисхождения с нашей стороны.

Как тихо кругом! Тишина впивалась в сердце Андрея, холодными пальцами сдавливала его горло. Он упрямо ходил по своей клетке, для того, чтобы слышать звук своих шагов. Но страшная тишина поглощала этот звук, пожирала его, как голодный дикий зверь. Андрей испывал странное чувство, ему мерещилось, что его камера пуста, и что сам он—бестелесное существо, страдание которого беспокойно мечется в этом тесном пространстве. Холодный пот выступил у него на лбу. Жив ли он, существует ли его тело? Дрожащими руками он ощупывает себя; облегченно вздыхает, нащупав железные мускулы на руках. Хоть бы один звук услышать, хоть бы один звук пронизал эту мертвую серую тишину, слово, шаги, тикание часов... Но тишина становилась все грознее, заполняла всю камеру, сдавливала его мозг и навалилась на него, чтобы раздавить его. Если бы он мог крикнуть, чтобы слышать собственный голос. Он открыл рот, но ни один звук не вырвался из его сдавленного горла. Он забился в угол и сжался от страха в комок. В камере было совершенно темно; над всем царила чудовищная, страшная тишина. Он боялся сойти с ума. Боже мой, хоть бы услышать какой-нибудь звук...

Красные огни плясали у него в глазах; он запустил ногти в свою сжатую руку, из груди его вырывалось тяжелое хрипение.

Как могут люди причинять своим ближним такую пытку, такую несказанную муку? как это возможно? И мозг его просверлили два слова, которые он оставил совершенно без внимания, там, в большом зале,—„пожизненное заключение." Пожизненное! Значит всегда будет то же самое; все дни, все часы до самой своей смерти будет его душить та же страшная тишина, будет гигантским призраком стоять в камере, властвуя над всем. Только теперь понял он, почему человек в очках был так потрясен,—он наверное знал, что значит „пожизненное заключение". И воспоминания о человеке в очках влило некоторое утешение в больную душу Андрея Мерц. Этот человек был его другом; он жил на сво-

боде и он был не единственным другом Андрея: Руфь, Павел, товарищи,—нет, он не был всеми покинут, ему следует подбодриться, найти в себе мужество ждать. Среди тишины ему послышался ясный голос Павла: „Мы вызволим тебя, отец. Скоро".

Заливаясь слезами, но чувствуя прилив бодрости, Андрей Мерц свалился на холодный каменный пол.

* *

Затем потянулись серые однообразные дни, и мало-помалу Андрей Мерц пришел в себя и успокоился. Хотя у него не было книг, хотя ему не разрешено было чем-нибудь заниматься, он совершенно не испытывал скуки. Его мысли блуждали в прошлом. Перед его умственными очами проходила вся его жизнь. И не только его собственная жизнь, но также и жизнь тех, с которыми ему приходилось входить в соприкосновение. Он вновь переживал черные, как ночь, часы, проведенные в шахте, когда маленький Андрей дрожал от страха, видел луч света, блеснувший из скромной хижины Марты Туссек, слышал вдохновенные слова Павла Леэра. Вот идет грозная волна первой забастовки и разбивается о плотину капитализма. Андрею вспоминаются годы работы среди товарищей, вспоминается, как они все больше и больше сплачивались вокруг него, вспомнилось наступление рассвета в угольном районе. Что же потом случилось? Новое рабство, погнавшее людей на поля сражения, толкнувшее людей на убийство своих братьев под кнутом военщины. Вопросы, волновавшие Руфь, пришли ему в голову: чего мы не доделали, что нами не предусмотрено? Медленно, постепенно, стремясь уяснить себе положение вещей, он нашел ответ на эти вопросы: мы дали себя одурачить реформистам, довольствовались крохами, брошенными нам с барского стола, мы воображали, что борьбы духа будет достаточно для завоевания мира. Другие были умнее, они знали, что мало духовной работы, знали, что нужно поддерживать ее силой. Ему вспомнился Павел Леэр. Он сказал ему в одну горькую минуту, что между двумя мирами, между пролетариатом и буржуазией не может быть примирения, лишь глупцы могут верить в возможность этого примерения. Если рабочий хочет добиться своих прав, он должен господствовать, должен

угнетать других, если в этом встретится надобность, пока они не научатся подчиняться новому порядку. Руководители партии, толкующие о мирной победе—глупцы или обманщики. В минуту нужды они позорно изменили своим идеалам. Нужно создать новую партию, способную отбросить от себя пережитки буржуазных предрассудков, настоящую рабочую, революционную партию. Молодежь давно мечтала об этом. Андрей подумал о своем Павле; этот без всякого доверия относился к учению своей партии, требовал большего, требовал другой тактики. И Андрею вспоминались сверстники его сына, стремившиеся к тому же. Этим надлежит выиграть сражение. Старики и те, которые еще цепляются за устаревшие догматы, должны отойти в сторону. Но сделают ли они это? Не захотят ли они во что бы то ни стало спасти собственное могущество, даже ценою предательства? Разве они не доказали этого, тормозя всякое свободное движение рабочего класса? Разве они уже не превратились в союзников буржуазии? Руководители действовали и продолжают действовать вполне сознательно, а массы...массы еще недостаточно проникнуты сознанием своих прав.

Волны гнева поднимались в сердце узника, когда эти мысли окончательно выяснились. Он беспокойно ходил взад и вперед, четыре шага вперед, четыре шага назад. Разве партия так же точно не ограничивала наступательное движение пролетариата, разве она не вынуждала его после каждого шага вперед делать шаг назад? Андрей сжал кулаки; надо уйти из этой партии, превратившейся из друга во врага, в противника, еще более опасного, нежели буржуазия, потому что многие еще предполагают в ней друга, еще верят ее лживым словам...

В течение нескольких месяцев он был совершенно отрезан от внешнего мира. Ни одно письмо, ни одно известие не проникало в тишину его камеры. Только его мысли населяли узкую клетку, мучили и утешали его, нападали на него и помогали ему.

Ему часто случалось говорить с самим собою: „Когда я буду опять на свободе, я буду работать совсем иначе, теперь я знаю, что нужно делать".

Ледяной холод пробегал по его телу. Ведь, он никогда не выйдет, он осужден на пожизненное заключение. Этой мысли он никак не мог вполне усвоить. Пожизненное заключение обозначает: все дни его жизни до самой смерти... нет, это было невозможно, это не могло быть. Что-нибудь случится, что взорвет ворота тюрьмы, освободит заключенных, нет, не „что-нибудь", а нечто определенное, единственно способное совершить это: Революция.

Павел верил в это, верил, что она скоро наступит. Он был молод, его глаза были более проницательны. Как странно все это! Разве не вчера еще он сам, Андрей Мерц, принадлежал к молодежи, протест которой встречал неодобрение стариков, качавших головой при резких выступлениях Андрея и его сверстников? А теперь он сам старик; но он понимает молодежь, он пойдет с нею, несмотря на то, что его усталые глаза иначе воспринимают все окружающее.

Собственно говоря, он вовсе еще не стар,—ему за сорок лет. Правда, непосильный труд в шахте преждевременно состарил его. Ведь, продолжительная молодость является привилегией богатых. Эти разбойники, как их называл Францишек, крали у своих рабов все, чтобы воспользоваться награбленным.

Результаты его размышлений сводились к следующему: пролетарская масса под гнетом эксплоатации и рабства, выработала нечеловеческое терпение. Бесконечные годы угнетения и приниженности притупили в ней всякое сознание своих прав. Но теперь она начинает прозревать правду; яркий луч света указал ей неотъемлемые ее права и виновность других. Чем ярче будет гореть этот луч света, чем больше он будет разгонять густую тьму, тем ближе день избавления.

* * *

Где-то на земле наступила весна. Сквозь высокое решетчатое окно Андрей видел крошечный кусочек голубого неба; в камере стало светлее, и ветер изредка доносил до него аромат цветов.

Сознание того, что тюремные стены навек сомкнулись над ним, проникло, наконец, в сознание Андрея Мерц. С каждым днем его камера казалась ему уже и уже; прогулки по тюремному двору являлись для него мучением: стены,

стены, куда бы он ни взглянул, всюду только стены. Безумная жажда свободы охватила его; жажда видеть широкие долины, ощущать грозные бури, ринуться в неизвестное, в безграничное. Где-то распускаются деревья, расцветают фиалки, где-то солнечные лучи освещают облака... где-то на свете живут люди, свободно дышат, их не давят тюремные стены.

Иногда его охватывал безумный гнев; он колотил кулаками в стену своей камеры, словно надеясь пробить их. Его мозг сверлила мысль, что где-то на свете идет борьба права с несправедливостью, а он должен сидеть здесь, беспомощный, бессильный...

Ночью ему снилось бегство, освобождение. Во сне случались чудеса; тюремные стены рушились, он вырывался на свободу, перед ним раскрывался новый свободный мир. Или слышались певучие голоса. Молодой голос Павла заглушал пение, и ему слышались слова сына: „Мы идем, мы победили"! В его камеру врывались, люди, радостные, молодые с сияющими лицами. Иногда ему снилось, что к тюрьме подходит толпа и над нею колышется красное знамя.

Просыпаясь, он видел перед собой все те же каменные стены, все то же решетчатое окно, и безумное отчаяние отравляло его душу.

Он не отдавал себе отчета в том, сколько месяцев или лет он провел в тюрьме.

Наконец, ему разрешили свидание; через долгие промежутки времени, приходила к нему Руфь и в присутствии сторожа говорила с ним. Ему хотелось о многом расспросить ее, ей хотелось многое сказать ему; но при взгляде на человека, облеченного в тюремный мундир, слова застревали в горле. Как безжалостно жестоко поступали люди, не давая этим несчастным несколько минут пробыть наедине! Он спрашивал о Павле; Руфь отвечала уклончиво, что ему живется хорошо и что он больше не работает в шахте.

Когда она уходила, Андрея охватывал безумный страх: почему она так мало говорит о Павле? Быть может, с ним что-нибудь случилось, и она не посмела сообщить об этом отцу! Да, наверное это так. Руфь так бледна, лицо ее носит следы страдания. Быть может, Павел уже убит, как и его брат. Эта мысль мучила его, доводила его до сумасшествия.

Как бесконечно тянулись дни! Ему сказали, что Руфь может навещать его раз в месяц. Но эти бесконечные дни и ночи казались ему вечностью. Как жестоко не пускать к нему жену чаще. Наверное Павел умер. И Эрнст тоже умер. У него было когда-то двое сыновей, двое прекрасных, милых сыновей, и оба они умерли. Но, может быть, Павел только болен или сидит в тюрьме?

Ночь спускалась на землю; проходил еще день, а Руфи все не было. Быть может, она больше совсем не придет, она, вероятно, тоже умерла.

Все эти мучительные вопросы и размышления терзали душу Андрея. Когда, наконец, Руфь пришла невестить его, он едва мог дотащиться до места свидания и уже на пороге дрожащим голосом крикнул ей:—Скажи мне правду, Руфь, Павел умер?

Она успокоила его, показав письмо от Павла. У него кружилась голова, он безумными глазами смотрел на жену.

— Почему ты так странно смотришь на меня, Андрей?

— Мне бы хотелось рассмотреть твое лицо, дорогая, но все расплывается у меня в глазах, мне кажется, что все покрыто серой дымкой.

Она озабоченно взглянула на него.

— Это с тобою случилось в первый раз сегодня?

— Нет, вот уже несколько месяцев, как от яркого света мои глаза болят, я совсем не могу читать, буквы сливаются перед глазами, и мне все кажется, что на моем лице надета густая серая вуаль.

— Ты говорил с доктором?

— Да, доктор приходил, но он исследовал меня очень поверхностно и заявил, что это „тюремная истерия".

Кровь бросилась в лицо Руфи.

— Значит вы здесь сможете болеть и околевать без всякой помощи, как скотина?

Она повысила голос; сторож подошел к ней и властно заявил:

— Здесь не подобает говорить таким образом. Если заключенный желает жаловаться на что-нибудь, он должен обратиться по начальству.

Руфь обернулась к нему и заговорила тихим, полным страдания голосом:—Заключенный! Да разве заключенный не человек?

Сторож смутился:—Человек... конечно... Но все же не следует жаловаться. Впрочем, время свидания уже прошло. и вам уже пора уходить, госпожа Мерц.

Руфь обняла Андрея и шепнула ему на ухо:—Будь здоров, не теряй мужества. Все это скоро кончится.

Он удивленно глядел ей вслед. Что могли обозначать ее слова?

ГЛАВА XXI.

Летние солнечные дни казались Андрею Мерц странно темными. Даже в полдень его камера лежала в сумраке. Однажды он удивил одного из сторожей, старого приветливого человека, вопросом: „Разве сегодня опять дождь идет?“

— Что с вами? Разве вы не видите, какое сегодня ясное голубое небо?

Жуткий страх впился в душу Андрея Мерц. Когда он был еще подростком, у него на глазах Петр Леэр постепенно терял зрение. Старику тоже все время казалось, что вокруг него темнота. Неужели эта ночь, вечная недоступная даже яркому солнечному свету, покроет его? Ведь, в сущности, он никогда не видел настоящего света; когда наступит светлый праздник, его слепые глаза не смогут увидеть его...

Он заметно старился; его густые волосы поседели, высокий, когда-то стройный стан сгорбился, члены его постоянно подергивались, лицо приобрело серый оттенок, и он выглядел гораздо старше своих лет. При каждом новом свидании Руфь с болью в сердце следила за постепенным разрушением его организма.

Однажды утром Андрей с ужасом убедился, что он ослеп. Он не вставал с нар, пока не пришел сторож. Он не мог различить лица сторожа. Все его мужество, вся гордость сломились перед этим несчастьем. С громким рыданием он бросился на колени перед сторожем.

— Позовите врача, ради бога, позовите,—я слепну! Знаете ли вы, что это значит? Сжальтесь надо мной, позовите врача!

Он бесновался, как сумасшедший, рвал на себе одежду и невыразимо страшным голосом кричал: „Ослеп! ослеп! ослеп!“

Пришел врач. Андрей с трудом понял его:—Темная вода... операция... впоследствии...

Разумеется... Впоследствии... У врача были здоровые глаза, и ему, конечно, было безразлично, что в тюремной камере слепой переживает мучительную пытку.

К его прежней тюрьме прибавилась вторая тюрьма, сотканная из вечного мрака. Бывали дни, когда Андрей смутно различал окружающие предметы, но они являлись ему в таком искаженном виде, что он предпочел бы полную слепоту, совершенную ночь этому ужасному полумраку.

Он сидел на нарах и что-то бессмысленно бормотал, точно ум его помутился. В душе его царил гнев против всего и всех; он ненавидел не только своих врагов, заточивших его в тюрьму, навлекших на него слепоту, он ненавидел даже прежних друзей своих, даже Руфь и Павла. Они должны были бы спасти его, пока это последнее несчастие не обрушилось на него. Если бы они пожелали, они, конечно, могли бы его спасти. Но они свободны, их глаза не потеряли способности видеть,—какое им дело, что он здесь погибает?

Он отказался от свиданий с Руфью и просил сообщить ей, чтобы она пришла лишь тогда, когда он попросит ее об этом. Она покорилась его желанию.

Раньше он отсчитывал месяцы по своим свиданиям с женой. Теперь она больше не приходила, и он потерял счет дням. День и ночь не имели для него никакой разницы. Он спустился в горнило страданий, узнал все муки одиноких, покинутых людей. В голове у него отчетливо обрисовывался лишь один вопрос: почему я ослеп? И он додумался до ответа: „Потому что я еще маленьким ребенком должен был работать в подземной шахте, потому что я годами жил во мраке ночи, потому что моим усталым глазам некогда было отдохнуть, потому что меня, как дикого зверя, посадили в клетку и обращались со мной хуже, чем с рабочим скотом. Теперь они не нуждаются во мне и потому оставляют меня погибать в тюрьме. Разве они интересуются тем, видит заключенный что-нибудь или нет?

И в его мыслях эти „они“ приобретали осязательные формы. Они — враги, господа, собственники, они — разбойники и убийцы, подстерегающие даже жизнь пролетарского

Андрей смутно различал окружающие предметы...

ребенка, заставляя работать беременных женщин. Они прячутся за каждым выступом, за каждым поворотом жизненного пути пролетария, набрасываются на несчастного, грабят его, убивают...

Бессильный гнев заставлял Андрея сжимать кулаки и биться головой о стену. Иногда на него находили припадки буйного помешательства, тогда он кричал раздирающим голосом: „Бейте их! Бейте! Пусть они страдают, как страдаем мы, пусть они почувствуют всю безысходную скорбь нашей жизни".

Иногда к нему в камеру заходил пастор, хорошо упитанный, красивый блондин с большой бородой. Он был полон снисходительного терпения, произносил елейные утешения.

— Вы не должны отчаиваться, друг мой. Тот, кто возвращал зрение слепым, может вернуть свет и вашим очам!

Андрей вперял в него свои незрячие глаза.

— Он не возвратил зрения слепым, мы все до сих пор еще слепы. Если бы мы прозрели, то вы и вам подобные давно сидели бы в тюрьме, в кандалах, а мы были бы свободны.

— Если бы вы знали, друг мой, как отвратительна ненависть, наполняющая ваше сердце!

Андрей Мерц отвечал горьким смехом.

— А знаете ли вы, господин пастор, кто посеял эту ненависть в наших сердцах?

— Я вас не понимаю.

— Вы сами посеяли ее, своими собственными руками. Теперь жатва созрела, теперь вы дрожите, и боитесь, и говорите нам о заповедях любви. Неужели голодный может любить сытого, голый—одетого, несчастный—счастливого? Неужели он должен мириться с этим: „У тебя есть все, брат мой, а я лишен всего,—это превосходно, я и впредь буду служить тебе и работать, чтобы украсить твою жизнь; мне вполне достаточно тех крох, которые ты из жалости бросаешь мне, чтобы я не умер с голоду". Вы поработили нас, вы попирали нас ногами, а теперь, когда вы испугались нашего могущества, вы приходите к нам и пытаетесь нас убедить, что мир есть любовь и что все мы братья. Почему же вы не вспоминали об этой любви, об этом братстве,

когда мы трудились, как рабочий скот, жили в вонючих лачужках, голодали, мерзли и издыхали на полях сражения? Тот, за слугу которого вы себя выдаете, великий революционер, показал нам, что мы должны делать; он выгнал из храма торгующих, осквернявших этот храм; по его примеру и мы должны изгнать торгующих из храма человечества, людей, совершающих сделки над живою плотью и кровью.

Андрей Мерц предпочитал разговаривать со старым сторожем. Этот последний часто старался успокоить и утешить заключенного.

— Мы, ведь, тоже люди,—говорил он.—Неужели ты думаешь, что нам доставляет удовольствие караулить людей, словно скот? Начальство приказывает, а вы на нас смотрите, как на диких зверей. Что касается меня, я бы с удовольствием раскрыл ворота, да и сказал бы вам... бегите скорее, бедные вы глупцы. Если даже вы виновны в воровстве или убийстве, так, ведь, свет создан так, что человек иногда бывает вынужден совершить преступление. Богатым гораздо легче быть честными. Право, иногда мне хочется ослепнуть, чтобы не видеть того, что происходит на свете.

Иногда сторож рассказывал ему о том, что творится на свете.

— Чудные дела творятся,—бурчал он,—господа борются за свою власть, а, ведь, народ-то сильнее их. Если они схватятся между собою, то победит народ, теперь, ведь, дерутся не одними словами, народ вооружен, у него есть свое войско. А во главе идет молодежь. Кто знает, номер 77, может и ты скоро выйдешь на свободу. Когда рабочие побеждают, они прежде всего открывают тюрьмы и выпускают заключенных. На-днях я видел в городе шествие. Десятки тысяч мужчин и женщин шли за красным флагом. Здорово хорошо шли, маршировали, как стена. Это сила! А на площади стояли солдаты с пулеметами. Офицеры, эти разряженные канальи, скомандовали, открыть огонь! Но солдаты даже не пошевельнулись. Ты подумай только,—солдаты-то даже не шелохнулись. Сначала я даже не сообразил, в чем дело, а потом мне стало самому смешно. Как-же солдаты могут стрелять в рабочих? Они, ведь, сами сыновья рабочих; их родители, братья и сестры их принадлежат к пролетариату. Наконец-то они поняли это. Офицер бросился к пулемету,

а рядом с ним стоял совсем молодой солдатик, почти мальчик. Прежде чем офицер успел направить пулемет на толпу, солдатик поднял ружье и прострелил ему голову.

Незрячие глаза Андрея Мерц засияли странным, нечеловеческим блеском. Значит ему все же довелось дожить до революции. Он помог ее возникновению, он подготовил ее целыми годами ученья и пропаганды, хотя в эту минуту, упав в последней борьбе, он должен стоять в стороне, слепой, осужденный на пожизненное заключение.

Он словно ожил, новые силы приливали к его измученному, утомленному телу. Ему чудилось, что и зрение возвращается к нему. Неужели осуществляется на яву мечта всей его жизни, приближение которой так часто грезилось ему? Он засыпал старого сторожа вопросами, но тот не мог сообщить ему никаких подробностей и только в общих чертах рассказывал, что уже в течение нескольких недель идет страшная борьба, но что исход ее еще неизвестен. Тюремный персонал не имеет права уходить в город, а люди рассказывают разное.

Дрожь нетерпеливого ожидания уже не покидала Андрея Мерц. Зима приходила к концу, солнечные лучи уже согревали холодный воздух камеры.

Однажды грозный шум нарушил вечную тишину тюрьмы. Раздавались громкие голоса, чьи-то шаги слышались в коридорах; до Андрея доносился звук отворяемых дверей. С бьющимся сердцем прислушивался слепой к непривычному шуму. Что случилось? Он медленно доплелся до двери, прислушался. Чей то голос кричит: „Они идут".

Кто идет? Враги или свои? Андрей Мерц задрожал, крупные капли пота покрыли его лоб, он должен был сделать над собою усилие, чтобы удержаться на ногах: „Кто идет, кто?"

Минуты казались вечностью, а крики и шум продолжались. Бежали тюремщики, или готовились к защите?

Мимо тюрьмы пронеслось несколько автомобилей; потом наступила тишина, гробовая тишина.

Андрей пошел по направлению к окну, прислушался, в его мозгу мелькнула мысль: сколько людей прислушиваются

теперь к внешнему шуму, с бьющимися сердцами, дрожа от ожидания и надежды? Но... другие могут видеть...

И вдруг в соседней камере раздался громкий крик: „Идут! Идут!“

На этот раз слова звучали торжеством. Андрею казалось, что сердце его разорвется. Кого так радостно может приветствовать заключенный. Конечно, только избавителя.

Его обострившийся слух уловил вдали грозный топот бесчисленных шагов, поющие голоса. Резвый весенний ветер отрывал от песни отдельные слова, играл ими, доносил их сквозь решетчатые окна до слуха заключенных: .

— Братья, к солнцу и к свободе.
Братья, к свету...

Шествие, повидимому, приближалось. Андрей судорожно стиснул руки. Боже, как ясно и бодро звенели поющие голоса! Да, они идут, освободители, избавители, несут с собою солнце и свет. Как твердо они отбивают шаги, так могут шагать только победители, только люди, облеченные властью, властью над всем миром.

— Хоть бы увидеть их, подумал Андрей Мерц. Ведь, их лица должны сиять, я такими видел их во сне!

Топот прекратился, раздались отдельные голоса. Кто-то кричит: „Они сбежали!“ В воздухе раздался громкий смех; так смеются только победители.

Андрей Мерц едва дышал, он подполз к двери, приложил ухо к щели между дверью и полом.

Треск, стук. Ломают двери. Ничто не может им сопротивляться, ни железо, ни камень.

А потом, потом у его камеры послышались шаги, кто-то остановился, кто-то громко произнес: „Павел, вот номер 77. Ты хотел его выпустить на свободу?“

Павел? Разве это возможно? Годы тюремного заключения, страдания, бесконечные духовные и телесные пытки, весь ужас пережитого свалились с Андрея, как старая рухлядь. Он ощупью поднимается, стоит прямо, как свеча, держась одной рукой за стену.

Кто-то бежит вдоль коридора. Знакомый звонкий голос кричит: „Открыть!“ Дверь трещит, слышен лязг железа; дверь с шумом открывается.

Андрей, шатаясь, делает шаг вперед.

Пара сильных рук обнимает его.

— Неужели ты думал, что мы не придем, отец?

— Павел! Павел!

Павел крепко прижимает к себе падающего отца.

— Ты свободен, отец, все свободны. Мы победили.

ГЛАВА XXII.

Андрей Мерц сидит в великолепном больничном саду и греется на солнце. На глазах у него повязка, но скоро ее можно будет снять, ибо операция, которой он подвергся несколько недель тому назад, блестяще удалась, зрение к нему вернется. Но Павел не позволяет отцу снимать повязку.

— Первое, что ты должен увидеть, будет то, что я сам тебе покажу,—весело говорит он. И Андрей добродушно подчиняется его желанию.

Сегодня Павел отвезет его домой; Руфь за два дня отправилась туда, чтобы все подготовить к его приезду.

Андрею Мерц кажется, что он грезит. Павел спокойно и обстоятельно рассказывает ему удивительные вещи. Старик едва может верить всему слышанному. Время от времени он задает сыну мучающий его вопрос: „Правда ли, что мы победили, что теперь мы господа положения?“ С этим вопросом он обращается ко всем, чтобы слышать радостный утвердительный ответ. Он изумляется вещам, которые кажутся Павлу совершенно незначительными. Великолепная больница с дивным садом была раньше замком богатого биржевого дельца, где он жил вдвоем с женой. А теперь старые труженики нежатся на мягких постелях; ребятишки, отравленные смрадным воздухом задних дворов, весело резвятся на поляне, валяются под громадными деревьями, вдыхают аромат цветов. Все это кажется Андрею чудом.

— Неужели все заводы и фабрики в самом деле принадлежат нам?—спрашивает он сына.

— Разумеется!

— И никто больше не будет выжимать из нас соки, никто не будет наживать деньги нашим трудом?

Павел смеется.—Ты всю жизнь стремился к этой цели, отец, а теперь не хочешь верить, что мы ее достигли.

— Побольше терпения, Павел, ведь, я из мрака вышел прямо к свету. Немудрено, что я ослеплен.

Рыдания вырываются из его груди.—Почему я уже стар, почему я не могу вместе с вами творить новую жизнь, теперь, когда труд стал радостью для людей!

— Ты довольно поработал, отец. Теперь посмотри, как в нашем новом мире живется рабочему.

В полдень они отправились на вокзал. Друзья Павла помогли им уложиться и с нежною заботливостью усадили Андрея Мерц в вагон. Их любовь, их заботливость и приветливость согревали усталое сердце Андрея. Значит, они не дают ему полной отставки, эти молодые борцы, значит они знают его, знают, что он жизнь свою положил в основу наступившего счастья.

По мере приближения поезда к родным местам, нетерпение все больше охватывало Андрея, он, как ребенок, просил Павла разрешить ему снять повязку:—Сейчас будет мост, Павел, мне бы хотелось взглянуть на него. Ты подумай только, как долго мои глаза ничего не видели в тюрьме после того, как я потерял зрение. Сними с меня повязку!

В ответ раздавалось непоколебимое:—Нет, ты откроешь глаза только дома.

Старые руки Андрея дрожали от волнения. В самые тяжелые моменты своей слепоты он не так страстно желал видеть, как теперь.

Поезд остановился. Павел помог отцу выйти, две нежные, любящие руки обняли его. „Андрей!"

— Руфь!

Он обернулся к сыну:—Павел, я хочу взглянуть на мать. Позволь мне снять повязку.

— Подожди, снимешь потом.

Мать и сын взяли его под руки и медленно повели вдоль улицы, ведущей к спуску в шахту.

— Хорошо ли ты помнишь нашу шахту, Андрей?—прозвучал милый голос Руфи,—помнишь ли ты эту тяжкую работу во мраке, среди смрада и грязи, эту работу для других?

Он молча кивнул головой, говорить он не мог, слезы душили его.

— Ты помнишь, друг мой, что весь наш труд принадлежал другим? Помнишь ли ты, как мы дрожали зимою от холода, когда вокруг нас были груды угля? Помнишь ли ты, что тяжкий труд едва мог прокормить нас?

Ты, ведь, не забыл, — вставил Павел, — что наши копи со всем их богатством принадлежали одному человеку, что рабочие были его рабами, крепостными его?

Нет, не забыл. Почему ты спрашиваешь меня об этом?

— Потому что все это прошло, как скверный сон, как кошмар, давивший человечество, потому что прошло это страшное время, о котором наши дети и внуки будут вспоминать, как о чем-то чудовищном.

Павел остановился.

Где мы? Где мы находимся?—спросил Андрей Мерц.

Чьи-то руки развязали повязку.

Ослепленный ярким светом, Андрей Мерц потирал свои прозревшие глаза. Солнечные лучи падали на вход в шахту. На высокой штанге развевалось красное знамя, словно вбиравшее в себя солнечные лучи, заливавшее все окружающее теплым, радостным красным светом.

Наши копи!—тихо промолвил Павел.

Андрей Мерц устремил взгляд на красный флаг. Понял, всею своей наболевшею душою понял, что обозначает собою этот победный флаг. Его глаза с вожделением поглощали красные лучи; мрак, окружавший всю его жизнь, уступил место свету. Его слепые глаза прозрели.

Старик узрел свет.